

27/16

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО.

СОДЕРЖАНИЕ:

Кризисъ въ жизни Л. Н. Толстого.—Толстой и 1 марта.—80-е годы.—Въ Москвѣ.—«Въ чемъ моя вѣра».—Послѣдній періодъ.—Бѣгство изъ Ясной Поляны.—Одно изъ послѣднихъ писемъ Л. Н. Толстого.—Въ Оптиной пустынѣ.—Новый Алеппа Карамазовъ.—Предсмертная статья Л. Н. Толстого — «Дѣйствительное средство».—Протоколъ врачей о болѣзни и смерти Л. Н. Толстого.—Смерть Л. Н. Толстого.—Похороны.—Впечатлѣнія и рассказы очевидцевъ свящ. Гр. Петрова, А. Колюбакина и др.—Мѣсто погребенія Л. Н. Толстого.—Легенда.—Надъ свѣжей могилой.—Священный курганъ.—Статьи В. Г. Короленко, «9 ноября 1910 г.»—А. И. Куприна, «Наше оправданіе».—Д. Мережковского, «Смерть Толстого».—Епископа Михаила, «Толстой и церковь».—Японцы и китайцы о Л. Н. Толстомъ — «Свѣтильникъ міра».—Англичане о смерти Л. Н. Толстого.—Французы о Л. Н. Толстомъ.—Статья В. Обвинского, «Національное горе».—«Скорбныя параллели», «Толстой и мы». Азбука Л. Н. Толстого въ школахъ за границей.—Толстой и Эдиссонъ.—Отрывки изъ біографіи Л. Н. Толстого.—«Забытыя странички» Л. Н. Толстого.—Неизданный разсказъ Л. Н. Толстого «Два закона».—Л. Н. Толстой и армія.—Толстой и дѣти.—«Свѣтлой памяти», статья Н. Телешова.—«Отъ трагическаго до пошлаго».—«Кто виновенъ?» письма гр. И. Л. Толстого.—«Толстой», статья кн. П. Крапоткина.—«Письмо Толстого», статья І. Гессена.—Памяти учителя.—„Русское Богатство“ о Толстомъ.

МОСКВА.

1911.

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Посвящается памяти великаго
писателя земли русской.

СОДЕРЖАНИЕ:

Кризисъ въ жизни Л. Н. Толстого. — Толстой и 1 марта. — 80-е годы. — Въ Москвѣ. — «Въ чемъ моя вѣра». — Последній періодъ. — Бѣгство изъ Ясной Поляны. — Одно изъ послѣднихъ писемъ Л. Н. Толстого. — Въ Оптиной пустынѣ. — Новый Алеша Карамазовъ. — Предсмертная статья Л. Н. Толстого. — «Дѣйствительное средство». — Протоколъ врачей о болѣзни и смерти Л. Н. Толстого. — Смерть Л. Н. Толстого. — Похороны. — Впечатлѣнія и рассказы очевидцевъ свящ. Гр. Петрова, А. Колюбакина и др. — Мѣсто погребенія Л. Н. Толстого. — Легенда. — Надъ свѣжей могилой. — Священный курганъ. — Статьи В. Г. Короленко, «9 ноября 1910 г.». — А. И. Куприна, «Наше оправданіе». — Д. Мережковского, «Смерть Толстого». — Епископа Михаила, «Толстой и перекрестъ». — Японцы и китайцы о Л. Н. Толстомъ. — «Свѣтильникъ міра». — Англичане о смерти Л. Н. Толстого. — Французы о Л. Н. Толстомъ. — Статья В. Обнинскаго, «Национальное горе». — «Скорбныя параллели», «Толстой и мы». Азбука Л. Н. Толстого въ школѣ за границей. — Толстой и Эдиссонъ. — Отрывки изъ біографіи Л. Н. Толстого. — «Забытыя странички» Л. Н. Толстого. — Неизданный рассказъ Л. Н. Толстого «Два закона». — Л. Н. Толстой и армія. — Толстой и дѣти. — «Свѣтлой памяти», статья Н. Телешова. — «Отъ трагическаго до пошлаго». — «Кто виновентъ» письма гр. И. Л. Толстого. — «Толстой», статья кн. Л. Крапоткина. — «Письма Толстого», статья І. Гессена.

МОСКВА.

1911.

1506



Читателямъ:

*Я собралъ все наиболѣе характерное
изъ того, что было написано въ скорб-
ные дни тяжелой всемірной утраты.*

Н. Поповъ.

Кризисъ въ жизни Л. Н. Толстого.

Мы не станемъ дѣлать завѣдомо безуспѣшныхъ попытокъ найти тотъ отправной пунктъ, который можно было бы считать началомъ кризиса въ жизни Л. Н. Толстого.

Не будемъ для этого обращаться къ дѣтству Толстого, вспоминать религіозныя вліянія, имъ испытанныя. Надо помнить, что Толстой самъ говорилъ объ этомъ въ «Исповѣди»: «Со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и задатки котораго всегда были во мнѣ». Оtmѣтимъ лишь наиболѣе характерные предвѣстники великаго кризиса въ душѣ писателя,—кризиса, опредѣлившагося въ концѣ 70-хъ годовъ.

Еще въ пору созданія «Казакъ» Толстой вноситъ въ свой дневникъ: «Есть во мнѣ что-то, что заставляетъ меня вѣрить, что я рожденъ не для того, чтобы быть какъ всѣ».

Смерть брата Николая была для него отрезвляющимъ ударомъ, разрушившимъ иллюзіи жизни.

«Ничто въ жизни,—пишетъ онъ Фету,—не дѣлало на меня такого впечатлѣнія».

Начало 1872 г. застаётъ Толстого въ грустномъ настроеніи. Приводимъ выдержки изъ одного изъ самыхъ замѣчательныхъ его писемъ (къ Фету):

«О нирванѣ смѣяться нечего и тѣмъ болѣе сердиться. Всѣмъ намъ (мнѣ, по крайней мѣрѣ), я чувствую, она гораздо интереснѣе, чѣмъ жизнь, но я согласенъ, что, сколько бы я о ней ни думалъ, я ничего не придумаю другого, какъ то, что эта нирвана—ничто. Я стою только за одно—за религіозное уваженіе, ужасъ къ этой нирванѣ.

«Важнѣе этого все-таки ничего нѣтъ.

«Что я разумѣю подъ религіознымъ уваженіемъ?—Вотъ что. Я недавно пріѣхалъ къ брату, а у него умеръ ребенокъ и хоронятъ. Пришли попы, и розовый гробикъ, и все, что слѣдуетъ.

Мы съ братомъ невольно выразили другъ другу почти отвращеніе къ обрядности. А потомъ я подумалъ: ну, а что бы братъ сдѣлалъ, чтобы вынести, наконецъ, изъ дома разлагающееся тѣло ребенка? Какъ вообще прилично кончить дѣло? Лучше нельзя (я, по крайней мѣрѣ, не придумалъ), какъ съ панихидой, ладаномъ и т. д. Какъ самому слабѣть и умирать? Не хорошо. Хочется вполне выразить значительность и важность, торжественность и религіозный ужасъ передъ этимъ величайшимъ въ жизни каждаго человѣка событіемъ. И я тоже ничего не могу придумать болѣе приличнаго для всѣхъ возрастовъ, всѣхъ степеней развитія, какъ обстановка религіозная».

Очень сильно разстроило Л. Н. происшествіе въ Ясной Полянѣ, случившееся во время его отсутствія: быкъ забодаль на смерть работника.

Судебный слѣдователь обязалъ Толстого подпиской о невѣздѣ. Въ то же время Л. Н. былъ назначенъ присяжнымъ засѣдателемъ, и его општрафовали за неявку.

Кончилось, конечно, ничѣмъ, но негодованію Л. Н.—ча на новые тогда) суды не было предѣла. Снова въ письмахъ мы читаемъ, что онъ продать все и уѣдетъ за границу, въ Англію, «гдѣ есть уваженіе къ личности всякаго человѣка».

Въ ту же эпоху завязались у Л. Н.—ча отношенія съ фило-софомъ и критикомъ Н. Н. Страховымъ, съ которымъ онъ сошелся довольно близко, и съ П. И. Чайковскимъ. Знакомство Толстого съ Чайковскимъ не наладилось. Чайковскій чувствовалъ себя натянуто, неестественно въ присутствіи Толстого и въ результатѣ сталъ бояться встрѣчъ съ Л. Н.

Лѣтомъ 1877 г. Л. Н.—чѣ вмѣстѣ со Страховымъ совершилъ свое первое путешествіе въ Оптину пустынь. Оба посѣтили старца Амвросія; но это свиданіе, хотя Л. Н. въ то время былъ православнымъ, не удовлетворило ни того; ни другого. Со старцемъ у Л. Н. вышли пререканія изъ-за одного евангельскаго текста.

Въ началѣ разсматриваемой эпохи Толстой, заинтересовавшись царствованіемъ Николая Павловича, изучалъ декабрьское дѣло, но, какъ извѣстно, не остановился на этомъ и отъ декабристовъ перешелъ къ событіямъ наполеоновскихъ войнъ. Илодомъ его увлеченія декабристами остался отрывокъ, внесенный въ полное собраніе сочиненій.

Отмѣтимъ еще, что, изучая декабристовъ, Толстой ѣздилъ въ Петербургъ осматривать Петропавловскую крѣпость. Это зна-

комство съ Петропавловской крѣпостью, несомнѣнно; пригодилось ему позднѣе, при созданіи «Воскресенія».

Свою «Исповѣдь» Л. Н. задумалъ написать, по предположенію Бирюкова, въ 1874 году. Это предположеніе Бирюковъ обосновываетъ тѣмъ, что въ записныхъ книжкахъ Л. Н.—ча, относящихся къ тому времени, попадаются уже мысли о необходимости религіи, какъ основы жизни. Тотъ же біографъ Толстого думаетъ, что именно на «Исповѣдь» намекаетъ Л. Н.—чъ въ письмѣ къ Фету, въ мартѣ 1874 г., по поводу смерти своего маленькаго сына Пети. Съ тѣхъ поръ въ письмахъ Л. Н.—ча къ друзьямъ все чаще и чаще попадаются выраженія, свидѣтельствующія о начавшемся въ немъ душевномъ переломѣ. Проскальзываютъ все отчетливѣе религіозныя нотки, раньше не раздававшіяся.

Характерно также слѣдующее мѣсто въ письмѣ графинѣ С. А. къ сестрѣ: «Левочка постоянно говоритъ, что все кончено для него; скоро умирать, ничто не радуетъ, нечего больше ждать отъ жизни».

Это совпадаетъ съ тѣмъ моментомъ въ жизни Л. Н.—ча, когда, какъ онъ говоритъ въ «Исповѣди», онъ упорно заглядывался на балку въ сараѣ.

Около 1878 г. миръ сошелъ въ его душу. Онъ понялъ, что только его жизнь зло, а не жизнь вообще, принялъ народную вѣру. Но основа вѣры—Богъ былъ для него не ясенъ. Онъ его еще будетъ искать и найдетъ. Теперь, прежде всего, ему надо подвергнуть тщательному изслѣдованію и ученіе церкви и евангеліе.

Весной 1879 года Толстой ѣдетъ въ Кіево-Печерскую лавру. «Пошелъ въ лавру къ схимнику Антонію и нашелъ мало поучительнаго»,—пишетъ онъ женѣ. Поѣздка его не удовлетворила и, вѣроятно, способствовала скорѣйшему отпаденію его отъ православія.

Ближайшіе друзья его, Фетъ и Страховъ, не безъ недоумѣнія смотрѣли на эти исканія и начали отъ него отставать.

И, однако, въ этотъ моментъ Толстой былъ еще преданъ православію настолько, что безъ разрѣшенія старца Леонида не рѣшился послѣдовать совѣту доктора, рекомендовавшаго ему ѣсть постомъ скоромное.

Въ концѣ 1879 г. отношеніе Толстого къ церкви дѣлается болѣе опредѣленнымъ. Онъ приходитъ къ мысли о невозможности совмѣстить требованія своей совѣсти съ церковнымъ ученіемъ.

Въ ноябрѣ 1879 г. Софья Андреевна пишетъ сестрѣ:

«Левочка все работаетъ, какъ онъ выражается, но—увы!—онъ пишетъ какія-то религіозныя разсужденія, читаетъ и думаетъ до головныхъ болей, и все это, чтобы показать, какъ церковь несообразна съ ученіемъ Евангелія. Едва ли въ Россіи найдется десятокъ людей, которые этимъ будутъ интересоваться. Но дѣлать нечего, я одно желаю, чтобы ужъ онъ поскорѣе это кончилъ и чтобы прошло это, какъ болѣзнь. Имъ владѣть или предписывать ему умственную работу такую или другую никто въ мірѣ не можетъ, даже онъ самъ въ этомъ не властенъ».

Какъ видимъ, Софья Андреевна такъ же ошиблась, какъ и Фетъ и многіе другіе друзья Л. Н.—ча.

Тѣмъ временемъ Л. Н. изучилъ православное богословіе по Макарію, подвергъ его критикѣ съ точки зрѣнія здраваго смысла. Эта работа объяснила ему, почему казенное богословіе «производитъ безбожниковъ тамъ, гдѣ оно преподается».

Съ выходомъ въ свѣтъ своей «Критики православныхъ догматовъ богословія», Л. Н. разстается съ православной церковью.

Послѣ этого Л. Н. принимается за изученіе евангелія, и результатомъ явился трудъ, подъ заглавіемъ: «Соединеніе и переводъ 4-хъ евангелій».

Эту главу мы закончимъ указаніемъ на самые существенныя пункты новаго ученія, родившагося въ мукахъ кризиса:

1) основная идея жизни—религіозная. Наука и философія идутъ въ хвостѣ за религіей.

2) Религіозная идея практична, т. - е. ведетъ человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности.

3) Современное ученіе міра противорѣчитъ ученію Христа.

4) Непротивленіе злу.

5) Помощь ближнимъ любовью.

Толстой и 1-е марта.

Предстоявшая казнь надъ участниками убійства 1-го марта очень взволновала Л. Н.

Въ отвѣтъ на запросъ Бирюкова по этому поводу, Л. Н. написалъ между прочимъ:

«О томъ, какъ на меня подѣйствовало 1-ое марта, не могу ничего сказать опредѣленнаго, особеннаго. Но судъ надъ убій-

пами и готовящаяся казнь произвели на меня одно изъ самыхъ сильныхъ впечатлѣній моей жизни.

Подъ этимъ впечатлѣніемъ Толстой написалъ извѣстное письмо Александру III, въ которомъ умолялъ даровать жизнь цареубійцамъ.

Л. Н.—чу пришла мысль передать письмо по назначенію черезъ Побѣдоносцева, который былъ въ хорошихъ отношеніяхъ со Страховымъ.

Побѣдоносцевъ прочелъ письмо и отказался его передать.

Уже послѣ казни цареубійцъ онъ писалъ Толстому:

«Не взыщите за то, что я уклонился отъ исполненія вашего порученія. Въ такомъ важномъ дѣлѣ все должно дѣлаться по вѣрѣ. А прочитавъ письмо ваше, я увидѣлъ, что ваша вѣра одна, а моя и церковная другая, и что нашъ Христосъ — не вашъ Христосъ.

«Своего я знаю мужемъ силы и истины, исцѣляющимъ разслабленныхъ, а въ вашемъ показались мнѣ черты разслабленнаго, который самъ требуетъ исцѣленія. Вотъ почему я по своей вѣрѣ и не могъ исполнить ваше порученіе».

Письмо все-таки было передано императору Александру III, но о дальнѣйшей судьбѣ его ничего неизвѣстно.

80-е г о д ы.

Ясная Поляна дѣлается центромъ паломничества. Люди разныхъ классовъ и разныхъ слоевъ приходятъ къ Л. Н., открываютъ передъ нимъ душу. Л. Н. внимательно вглядывается въ приходящихъ къ нему людей и самъ идетъ къ людямъ, посѣщая крестьянскія избы, остроги, постоянные дворы, вступая вездѣ въ разговоры. Странники, богомольцы, плотники, острожники, кантонисты, раскольники — цѣлая галлерей бродячей Руси проходитъ передъ Л. Н. Лѣтомъ 1881 г. онъ отправляется пѣшкомъ, въ мужицкомъ кафтанѣ и въ лаптяхъ, въ Оптину пустынь. «Насъ не пустили въ чистую столовую, а посадили ужинать съ нищими, — отмѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ слуга Л. Н., Арбузовъ. — Я посматривалъ на графа, но онъ нисколько не гнушался своими сосѣдами, кушалъ съ удовольствіемъ и пилъ квасъ, который ему очень понравился».

Инкогнито Л. Н. какимъ-то образомъ открылось. Л. Н. пригласили къ архимандриту и къ о. Амвросію. Л. Н. покорился

судьбѣ, надѣлъ сапоги и чистую блузу и отправился къ архимандриту. Затѣмъ онъ прошелъ къ о. Амвросію и пробылъ у него часа четыре. Это посѣщеніе пустыни произвело на Л. Н. отрицательное впечатлѣніе. О. Амвросій, слышавшій объ уклоненіи Л. Н. отъ церковности, убѣждалъ его покаяться. Завязался споръ. Амвросій ссыался на евангельскій текстъ, цитируя его неправильно. Л. Н. досталъ изъ кармана Евангеліе и указалъ старцу его ошибку. Бесѣда разстроилась.

9-го іюля того же года Л. Н., исполняя данное Тургеневу обѣщаніе, отправился къ нему въ Спасское. Тамъ гостилъ въ эту пору Полонскій. Въ дневникѣ Л. Н. читаемъ: «9, 10 іюля. У Тургенева. Милый Полонскій, спокойно занятый живописью и писаніемъ, неосуждающій и бѣдный — спокойный. Тургеневъ боится имени Бога, а признаетъ Его. Но тоже наивно-спокойный. Въ роскоши и праздности жизни».

Л. Н. ѣдетъ въ свое самарское имѣніе и сводитъ близкое знакомство съ молоканами, субботниками и другими сектантами. «Интересны молокане въ высшей степени, — пишетъ онъ Софьѣ Андреевнѣ. — Былъ у нихъ на моленіи, присутствовалъ при ихъ толкованіи Евангелія и принималъ участіе. И они пріѣзжали и просили меня толковать, какъ я понимаю; и я читалъ имъ отрывки изъ моего изложенія; и серьезность, и интересъ, и здравый смыслъ этихъ полуграмотныхъ людей удивительны».

Расколъ между Л. Н. и обстановкой Ясной Поляны становится все глубже, все неизлечимѣе. Его новое, религіозное жизнепониманіе не встрѣчаетъ сочувствія среди домашнихъ. Религіозное настроеніе Л. Н. не совпадаетъ съ настроеніемъ его семьи. Въ августѣ 1881 г. Л. Н. возвращается изъ Самары и попадаетъ на любительскій спектакль. «Театръ. Пустой народъ. Изъ жизни вычеркнуты дни 19, 20 и 21 (августа)», — отмѣчаетъ Л. Н. въ дневникѣ. Осенью, къ великому огорченію для Л. Н., семья переселяется на всю зиму въ Москву. «Прошелъ мѣсяцъ. Самый мучительный въ моей жизни. Переѣздъ въ Москву. Всѣ устраиваются, — когда же начнутъ жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что такъ люди. Несчастные! И нѣтъ жизни».

Письмо Софьи Андреевны, относящееся къ этой порѣ, рисуетъ настроеніе Л. Н. въ такихъ краскахъ: «... Левочка ппалъ не только въ уныніе, но даже въ какую-то отчаянную апатію. Онъ не спалъ и не ѣлъ, самъ à la lettre плакалъ иногда, и я думала просто, что я съ ума сойду... Потомъ онъ поѣхалъ въ

Тверскую губ., видѣлся тамъ съ старыми знакомыми Бакунинными (домъ либерально-художественно-земско-литературный), потомъ ѣздилъ тамъ въ деревню къ какому-то раскольникъ-христіанину и, когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь онъ наладился заниматься во флигелѣ, гдѣ нашелъ себѣ двѣ маленькія, тихія комнатки за 6 руб. въ мѣсяцъ; потомъ уходитъ на Дѣвичье поле, переѣзжаетъ рѣку на Воробьевы горы и тамъ пилить и колеть дрова съ мужиками. Ему это здорово и весело».

В ъ М о с к в ѣ.

О Сютеевѣ (раскольникъ-христіанинъ) Л. Н. слышалъ впервые отъ Пругавина. Фактъ отказа сына Сютеева отъ исполненія воинской повинности произвелъ на Л. Н. сильное впечатлѣніе. Л. Н. рѣшилъ посѣтить старика, сынъ котораго отбывалъ въ эту пору наказаніе за свой отказъ въ шлиссельбургскомъ дисциплинарномъ батальонѣ.

Шавелино, деревня, въ которой жилъ Сютеевъ, находилась въ нѣсколькихъ верстахъ отъ деревни Бакуниныхъ. Когда Л. Н. пріѣхалъ къ старику, онъ занятъ былъ преобразованіемъ своей семьи въ «общину». Все должно было быть общимъ, не только хозяйство, но даже и бабьи сундуки съ ихъ добромъ. На невѣсткѣ Сютеева былъ платокъ. «Ну, а платокъ у тебя свой?»—спросилъ Л. Н. «А вотъ и нѣтъ»,—отвѣтила молодая женщина.—Платокъ не мой, а матушкинъ. Свой не знаю, куда задѣвала».

Сютеевъ добровольно исполнялъ должность деревенскаго пастиуха. «Чтобы скотинѣ было хорошо». Кнута для понуканія лошади Сютеевъ не употреблялъ, не признавая насилія и надъ животными. Когда Сютеевъ повезъ Л. Н. назадъ къ Бакунину, возница и сѣдокъ такъ увлеклись разговорами о небесномъ, что не замѣтили, какъ лошадь завезла ихъ въ оврагъ. Они припили въ себя только, когда телѣга опрокинулась и вывалила ихъ на землю.

Въ это время Л. Н. познакомился еще съ однимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, съ бібліотекаремъ Румянцевскаго музея И. Ѳ. Оедоровымъ. Это былъ аскетъ-безсребренникъ, спавшій на пачкахъ старыхъ журналовъ и раздававшій нуждающимся весь свой заработокъ.

Въ январѣ 1882 г. въ Москвѣ состоялось трехдневная пере-

пись. Л. Н. принялъ въ ней участіе въ качествѣ счѣтчика, избравъ своимъ участкомъ районъ въ Хамовникахъ, средоточіе московской голи и нищеты. Все, что онъ испыталъ во время этой переписи, Л. Н. изложилъ въ своей статьѣ «Такъ что же намъ дѣлать?», вышедшей отдѣльнымъ изданіемъ.

Въ районъ, избранный Л. Н., входила знаменитая Ржановская крѣпость, наполненная угловыми жильцами и состоявшая исключительно изъ коечно-каморочныхъ квартиръ. Л. Н. обошелъ всѣ закоулки этой клоаки, съ болью сердечной вглядываясь въ развернувшіяся передъ нимъ во всемъ своемъ неприкрашенномъ ужасѣ язвы общественнаго строя.

У Толстыхъ бываетъ масса народу: «и литераторы, и живописцы,—пишетъ Софья Андреевна,—le grand monde, нигилисты, и кого, кого я еще не выдаю!» Среди всѣхъ, посѣщающихъ его домъ, Л. Н. отличаетъ Сютаева. «Перепись и Сютаевъ уяснили мнѣ очень многое»,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ. Главное, что уяснилъ Л. Н. Сютаевъ, заключалось въ тщетѣ благотворительности, въ тщетѣ помощи деньгами. Раздавъ оставшіяся у него на рукахъ деньги, Л. Н. уѣзжаетъ въ Ясную Поляну.

Въ 1882 г. художникъ Н. Н. Ге прочелъ статью Толстого «О переписи въ Москвѣ». Статья эта произвела на него сильное впечатлѣніе, и онъ рѣшилъ поѣхать къ Толстому. Теперь знаменитый художникъ Ге пишетъ мой портретъ,—пишетъ Софья Андреевна,—очень хорошо... Онъ пріѣхалъ познакомиться съ Левочкой; объяснился ему въ любви и хотѣлъ для него что-нибудь сдѣлать». «Во время своихъ сеансовъ,—вспоминаетъ Татьяна Львовна,—Ге много разговаривалъ со всѣми нами. Онъ рассказывалъ, между прочимъ, о томъ впечатлѣніи, какое произвела на него статья моего отца «О переписи въ Москвѣ», и о томъ, какъ она совершенно перевернула все его міросозерцаніе, и изъ язычника сдѣлала его христіаниномъ».

Въ 1882 г. Л. Н. сдаетъ въ «Русскую Мысль» свою «Исповѣдь», законченную въ 1889 г. Цензура вырѣзала «Исповѣдь» изъ книжки журнала, и ее пришлось издать въ Женевѣ. Въ Россіи «Исповѣдь» стала расходиться по рукамъ въ рукописныхъ и гектографированныхъ экземплярахъ. Въ этомъ же году Л. Н. начинаетъ изучать еврейскій языкъ, чтобы читать библію въ подлинникѣ, и въ короткое время дѣлаетъ большіе успѣхи.

Въ 1883 г. Л. Н. получаетъ отъ Тургенева извѣстное письмо, въ которомъ Тургеневъ, называя его «великимъ писателемъ рус-

ской земли», умоляетъ Л. Н. вернуться къ литературной дѣятельности. Черезъ мѣсяцъ послѣ отправки этого письма Тургенева не стало.

Въ этомъ же году Л. Н., назначенный присяжнымъ засѣдателемъ, ѣдетъ въ Крапивну, гдѣ была сессія суда, и объявляетъ, что его религіозныя убѣжденія не позволяютъ ему принимать участіе въ судѣ. «Объясняя Софьѣ Андреевнѣ этотъ поступокъ, Л. Н. пишетъ: «Мнѣ можно было совсѣмъ не ѣхать. Тогда были бы тѣ же штрафы, а въ слѣдующій разъ опять бы меня потребовали. Но теперь я сказалъ разъ навсегда, что не могу быть».

«Этотъ скромный поступокъ,—говоритъ П. Бирюковъ,—слѣдуетъ почитать днемъ объявленія войны всему старому строю, держащемуся на насиліи, днемъ объявленія войны насилію со стороны разума и любви».

Это произошло 28 сентября 1883 г.

«Въ чемъ моя вѣра».

Проѣзжая домой съ вокзала, Л. Н. потерялъ чемоданъ съ книгами и рукописями, среди которыхъ была и рукопись нѣсколькихъ главъ книги «Въ чемъ моя вѣра?». Л. Н. немедленно возстановилъ утраченныя главы и сдалъ книгу въ печать. Побѣдоносцевъ запретилъ книгу, но содержаніе ея сдѣлалось извѣстнымъ всей Россіи. Вся Россія ознакомилась съ ученіемъ Толстого о непротивленіи злу. Въ то время, когда Л. Н. кончилъ эту свою книгу, онъ познакомился съ В. Г. Чертковымъ, ставшимъ самымъ искреннимъ его послѣдователемъ и другомъ.

Послѣдній періодъ.

Послѣдній періодъ жизни Л. Н. не богатъ внѣшними событіями. Лѣтъ 20 почти безвыѣздно онъ живетъ въ Ясной Полянѣ.

Къ этой эпохѣ относится созданіе «Отца Сергія», «Хаджи-Мурата» и «Воскресенія». Двѣ первыя повѣсти остаются пока въ рукописяхъ. Перерабатывая «Отца Сергія», Л. Н. увлекся новымъ сюжетомъ и принялся за «Воскресеніе».

Повѣсть была напечатана въ «Нивѣ», и гонораръ за нее Л. Н. пожертвовалъ въ пользу духоборовъ.

Съ величайшей охотой Л. Н. отдавался созданію «Круга чтенія», этого чуть ли не самаго любимаго своего дѣтища.

Бѣгство Л. Н. Толстого изъ Ясной Поляны.

Рано, еще до разсвѣта, утромъ 28 октября 1910 года Л. Н. Толстой уѣхалъ изъ Ясной Поляны, даже не простившись съ семьей.

Вотъ что передаетъ объ этомъ событіи корреспондентъ «Русскаго Слова» кн. Д. Д. Оболенскій, отправившійся въ Ясную Поляну тотчасъ же по полученіи телеграммы о бѣгствѣ Л. Н. Толстого.

«Пріѣхавъ сегодня днемъ въ Тулу, я былъ какъ громомъ пораженъ извѣстіемъ, что Л. Н. Толстой уѣхалъ изъ Ясной Поляны неизвѣстно куда и никогда назадъ не вернется.

Послѣ первой минуты глубочайшаго изумленія задаю вопросъ: куда, почему, съ кѣмъ?

Сосѣдъ Л. Н., взволнованно передавшій мнѣ эту скорбную вѣсть, поясняетъ:

— 28-го октября, въ 5 час. утра, Л. Н. вышелъ изъ дома вмѣстѣ съ докторомъ Душаномъ Петровичемъ Маковицкимъ и болѣе не возвращался. Второй день никто изъ его близкихъ не знаетъ, гдѣ онъ, куда ушелъ или уѣхалъ. Всѣ поиски тщетны. Въ Ясной Полянѣ смятеніе. Графиня Софья Андреевна и дѣти въ полномъ отчаяніи.

Пораженный еще болѣе, вѣря и не вѣря слышанному, немедленно нанимаю лошадей и ѣду въ Ясную Поляну.

Пріѣзжаю туда въ 9 час. вечера. Съ трудомъ различаю въ темнотѣ извѣстныя всѣмъ почитателямъ великаго старца яснополянскаго ворота. Глазъ угадываетъ въ ночномъ мракѣ очертанія знакомыхъ предметовъ, а сердце бьется какъ птица: увижу, не увижу? Можетъ-быть, не правда!

Едва переступаю порогъ и узнаю:

— Правда. Уѣхалъ.

Вся семья Толстыхъ въ сборѣ. Четыре сына (пятый, Левъ Львовичъ, въ Парижѣ), Татьяна Львовна Сухотина только-что передо мной пріѣхала изъ Кочетовъ. Видъ у всѣхъ убитый, растерянный, глубокое горе читается въ выраженіи лицъ, въ отрывочныхъ фразахъ, въ движеніяхъ,

На Софью Андреевну смотрѣть жутко: глаза заплаканы, сильно горбится, словно горе пригибаетъ ее къ землѣ. Кстати, рассказы о покушеніи ея на самоубійство невѣрны. Самообладаніе все-таки не покидаетъ ее, и она сравнительно спокойно передаетъ подробности неожиданнаго для всѣхъ отъѣзда Льва Николаевича.

За послѣдніе дни Левъ Николаевичъ временами былъ какъ бы въ какой-то тревогѣ, но ничего не говорилъ и даже не намекалъ о своемъ намѣреніи. Правда, нѣсколько разъ высказывалъ желаніе «написать русскаго Робинзона». Можетъ быть,—дѣлаютъ теперь догадки домашніе,—этими словами онъ намекалъ на свое рѣшеніе.

О самомъ отъѣздѣ или бѣгствѣ,—какъ хотите называйте,—узнаю слѣдующее.

28-го октября, около 3-хъ часовъ ночи, Софья Андреевна, проснувшись, услышала рядомъ въ комнатѣ, гдѣ спалъ Левъ Николаевичъ, его характерные шаги. Нѣсколько обеспокоенная за здоровье мужа, графиня встала и заглянула къ нему.

Левъ Николаевичъ ходилъ по комнатѣ и на ея вопросъ отвѣтилъ, что онъ принимаетъ содовые порошки. Затѣмъ попросилъ ее итти спать и самъ затворилъ за нею дверь.

Какъ оказалось послѣ, Левъ Николаевичъ въ это время, съ помощью доктора Маковицкаго, уже собиралъ кое-какія нужныя для дороги вещи. Уложившись, они тихо вышли изъ дому, распорядились спѣшно заложить лошадей и поѣхали на станцію «Щекино».

По словамъ кучера, Левъ Николаевичъ страшно торопился. На станціи онъ взялъ для себя и доктора билеты до «Горбачева».

До сихъ поръ семья не знаетъ, гдѣ онъ, хотя разговорами о немъ полна вся округа. Конечно, Л. Н. скрыться трудно. Всѣ его знаютъ,—одни въ лицо, другіе—по безчисленнымъ хорошимъ портретамъ, ходящимъ по всей Россіи. Наконецъ, каждое его появленіе «на людяхъ» производитъ всегда извѣстную сенсацію. Сейчасъ уже говорятъ, что его «узнали» въ вагонѣ третьяго класса близъ Бѣлева.

Послѣ разговора съ мужемъ, графиня крѣпко заснула и проснулась только въ десятомъ часу.

Не видя Льва Николаевича, она отправилась въ его комнату и тамъ нашла его письмо.

Графиня подаетъ мнѣ это письмо.

Въ немъ Л. Н. пишетъ, что содержаніе письма, конечно, огорчитъ ее, но что онъ давно съ трудомъ переносилъ роскошь, его окружающую, противъ которой онъ всегда ополчался. По примѣру многихъ стариковъ, онъ рѣшилъ уйти изъ міра и окончить дни свои въ полномъ уединеніи. Дальше Л. Н. проситъ не искать его, а если все-таки мѣстопребываніе его будетъ открыто, то не прїѣзжать къ нему и тѣмъ не усиливать взаимнаго огорченія. Въ заключеніе—просьба простить за причиненное имъ огорченіе и, если въ чемъ еще онъ виноватъ передъ нею, тоже простить его. Онъ, съ своей стороны, также прощаетъ ей все.

Софья Андреевна не можетъ примириться съ мыслью, что, послѣ 48-лѣтней жизни вмѣстѣ, Левъ Николаевичъ могъ уйти не простившись. Особенно же ее ужасаетъ мысль, что она, быть можетъ, больше не увидитъ его. Все, что только будетъ въ ея силахъ, она готова сдѣлать, чтобы найти, повидать его и затѣмъ находиться хотя бы вблизи его.

Въ разговорѣ, между прочимъ, вспоминаемъ, какъ во время переселенія духовоборовъ Л. Н. хотѣлъ уѣхать съ ними въ Америку, чтобы зажить тамъ новой, полной труда жизнью. Тогда, какъ извѣстно, семьѣ удалось удержать его дома.

Приходитъ на память и другой эпизодъ... Одно время Л. Н. интересовался судьбой извѣстнаго старца Кузьмича, котораго народная молва называла ушедшимъ изъ міра въ Сибирь императоромъ Александромъ Павловичемъ. По этому поводу Левъ Николаевичъ говорилъ тогда, что и ему слѣдуетъ уйти, снять съ себя справедливые, по его мнѣнію, упреки въ томъ, что онъ, не признавая собственности, проповѣдуя слова Христа: «Отдай все и послѣдуй за мной», позволяетъ себѣ пользоваться всѣми мірскими благами, подъ предлогомъ необходимости жить съ семьей.

Но какія, въ сущности, были эти блага? Трудно было жить скромнѣе и проще, чѣмъ жилъ онъ. Только чистыя комнаты да приличный, очень умѣренный столъ,—вотъ и все, что «позволялъ» себѣ, живя съ семьей, Левъ Николаевичъ.

Сыновья долго совѣтовались между собой, какъ поступить, и рѣшили ничего не предпринимать такого, что бы шло вразрѣзъ съ желаніями и намѣреніями отца.

Разсказы о томъ, что Чертковъ принималъ участіе въ неожиданномъ отъѣздѣ Льва Николаевича, являются басней. Чертковъ самъ позднѣе другихъ узналъ о совершившемся.

— Можетъ быть, на рѣшеніе Льва Николаевича повліяли

недоразумѣнія между графиней и Чертковымъ, слухъ о которыхъ проникъ въ англійскую печать?—осторожно задаю вопросъ.

— Нѣтъ,—говорятъ сыновья и Татьяна Львовна.

По ихъ словамъ, никогда Левъ Николаевичъ не былъ такъ добръ, кротокъ и трогательно благожелателенъ, какъ за послѣднее время. Своимъ отношеніемъ къ окружающимъ онъ, безъ преувеличенія, распространялъ вокругъ себя какую-то лучезарную дроботу.

Прежде, бывало, онъ спорилъ, горячился, говорилъ иногда очень рѣзко. За послѣдніе дни, напротивъ, неотразимой душевностью своихъ доводовъ Левъ Николаевичъ прямо умилялъ оппонентовъ. Никакихъ семейныхъ неудовольствій въ яснополянскомъ домѣ тоже не было. Словомъ, ничто не предвѣщало, что Левъ Николаевичъ задумалъ «уйти изъ міра», лишить горячо любящихъ его близкихъ счастья видѣть его, постоянно умиляться неистощимой силой его духа.

Сопоставляя все слышанное въ этотъ вечеръ и то, что раньше приходилось лично слышать отъ самого Льва Николаевича относительно удаленія изъ міра, приходится сказать, что совершившійся фактъ былъ давно предрѣшенъ Львомъ Николаевичемъ, и онъ, въ сущности, поступилъ такъ, какъ давно повелѣвало ему его внутреннее чувство.

Свой дневникъ Левъ Николаевичъ передалъ дочери Александрѣ Львовнѣ. Сейчасъ этотъ дневникъ хранится въ банкѣ.

*Ясная Поляна,
29-го октября 1910 г.*

Князь Д. Д. Оболенскій.

Л. Н. Толстой и жандармы.

Въ харьковской газетѣ «Утро», г. Елифанскій рассказываетъ, что въ Козельскѣ съ Л. Н. Толстымъ былъ такой эпизодъ:

На площадкѣ «корреспондентскаго» вагона траурнаго поѣзда, перевозившаго къ мѣсту вѣчнаго покоя гробъ съ прахомъ Л. Н. Толстого, дежурили во время передачи поѣзда съ линіи Рязанской дороги на Курскую два жандарма.

— Видѣли ли вы Толстого?—спросилъ я у жандарма.

— Я не видѣлъ, а вотъ онъ видѣлъ,—сказалъ жандармъ, указывая на товарища,—видѣлъ и не узналъ...

Жандармъ, не узнавшій Толстого, началъ рассказывать:

— Я его согналъ съ «рельсовъ»... Вижу, на рельсахъ стоитъ какой-то старичокъ съ палочкой, на которую можно садиться какъ на табуретку... А тутъ почтовый должень идти... я ему и кричу: «Отецъ! Сойди-ка съ рельсовъ: поѣздъ идетъ». И онъ хоть бы што: сошелъ и поплелся на вокзалъ. Прихожу въ жандармскую, рассказываю; а они: «Да вѣдь это Левъ Толстой!..». А онъ хоть бы што!—говорилъ рассказчикъ.

Самъ Левъ Николаевичъ и даже сопровождавшіе его были увѣрены, что о поѣздкѣ ихъ изъ Шамардина никто не знаетъ...

А въ поѣздѣ въ это время ѣхалъ корреспондентъ одной изъ московскихъ газетъ и... помощникъ начальника тульской сыскной полиціи г. Жемчужниковъ...

Только теперь Александра Львовна вспоминаетъ, что видѣла нѣкоего господина, съ бѣлокурными усами; появлявшася то въ образѣ кондуктора, то въ качествѣ скромнаго пассажира; бесѣдующаго съ вагоновожатымъ перваго класса, съ станціонными жандармами и т. д...

Помощникъ начальника тульской сыскной полиціи былъ командированъ для розыска Льва Толстого...

Одно изъ послѣднихъ писемъ Л. Н. Толстого.

Приводимъ выдержки изъ одного изъ послѣднихъ писемъ Л. Н. Толстого близкому ему лицу.

Письмо это въ печати еще не появлялось.

«На вопросъ вашъ, какъ вамъ устроить свою жизнь; отвѣчаю отрицаніемъ самаго вопроса. Устраивать нашу жизнь не въ нашей власти, и попытки такого устроенія только нарушаютъ то ея устройство, которое предстоитъ намъ, о которомъ мы не знаемъ и которое самое лучшее и для насъ, и для всѣхъ соприкасающихся съ нами.

Задача нашей жизни, смыслъ ея въ томъ, чтобы проявить

во всей доступной намъ силѣ того Бога любви, который живетъ въ насъ, а чтобы проявить его, намъ много нужно работать надъ собою, надъ уничтоженіемъ тѣхъ грѣховъ (слово неразборчиво), которыми мы полны и которые мѣшаютъ проявленію любви.

И тѣлоугодничество, и праздность, и сладострастіе, и недоброжелательство, и слава людская, и гордость личная и сословная и народная, и несправедливость, и всякаго рода суевѣрія—и церковныя, и государственныя, и научныя, и искусства,—все это такъ въѣлось въ насъ и такъ затемняетъ и заглушаетъ въ насъ духъ Божій, что нельзя достаточно упорно и напряженно бороться со всѣмъ этимъ, для того, чтобы все больше и больше освобождать духъ Божій любовью и пользоваться тѣми благами, которыя даетъ это все большее и большее освобожденіе».

Говоря о разныхъ условіяхъ жизни, въ которыя люди поставлены, Л. Н. Толстой говоритъ:

«И эти условія становятся мучительно тяжелыми, когда думаемъ, что это такія условія, которыя могутъ быть измѣнены, замѣнены болѣе легкими. Это заблужденіе. Условія эти не только облегчаются, но перестаютъ быть мучительными только тогда, когда мы смотримъ на нихъ не какъ на что-то такое, что можетъ быть измѣнено, а какъ на матеріаль, надъ которымъ мы призваны работать, т. е. на ту форму жизни, въ которой, какъ и во всѣхъ другихъ, у насъ есть одно дѣло—проявлять живущій въ насъ духъ Божій и соединяться посредствомъ любви со всѣми окружающими насъ».

(«Русское Слово»).

Въ Оптиной пустынѣ.

Въ послѣдній день своего пребыванія въ Ясной Полянѣ Левъ Николаевичъ писалъ о смертной казни, о «палачахъ и одобрителяхъ палачей».

Дома онъ не успѣлъ закончить свою статью и, прибывши въ Оптину Пустынь, снова принялся за нее. Утромъ 29-го октября пріѣхалъ къ нему, по порученію Александры Львовны, юноша-Сергѣенко (котораго ошибочно смѣшиваютъ съ писателемъ П. А. Сергѣенко, авторомъ книги о Толстомъ).

Алексѣй Сергѣенко («Алеша», какъ его называлъ Толстой) давно ушелъ отъ отца и живетъ нѣсколько лѣтъ у В. Г. Черткова въ непосредственной близости къ Льву Николаевичу. Отношеніе

у него къ Толстому благоговѣйное и нѣжное, совѣтъ какъ у другого «Алеши», Карамазова,—къ старцу Зосимѣ. Тѣмъ болѣе досадны газетныя сообщенія, будто Толстой испугался «Алеши», заподозрѣлъ въ немъ шпіона и чуть ли не бѣжалъ отъ него. Какъ мы видимъ теперь, Толстой, напротивъ, очень обрадовался юношѣ, усадилъ его за работу, повезъ съ собою въ Шамардино и т. д. Толстой зналъ «Алешу» съ дѣтства, говорилъ ему «ты», часто бесѣдовалъ съ нимъ, даже совѣтовался, откуда же могла взяться такая злостная клевета.

Левъ Николаевичъ, увидя юношу, очень ему обрадовался. Онъ встрѣтилъ его въ монастырскомъ коридорчикѣ и сперва не узналъ, но, узнавши, воскликнулъ:

— Ахъ, батюшки! Ты какъ сюда попалъ?

Юноша хотѣлъ передать ему кое-какія извѣстія о Ясной Полянѣ, но Л. Н. сказалъ: «подожди»—и принялся за продолженіе статьи. Юноша хотѣлъ удалиться, но Л. Н. сказалъ:

— Вотъ, только пріѣхалъ, сейчасъ же тебѣ работа!

И продиктовалъ ему изъ своей записной книжки твердымъ, увѣреннымъ голосомъ послѣднія строки статьи:

«И потому, если мы точно хотимъ уничтожить заблужденіе смертной казни, и, главное, если мы имѣемъ то знаніе, которое уничтожаетъ это заблужденіе, то давайте же, будемъ, несмотря ни на какія угрозы, лишенія и страданія, сообщать людямъ это знаніе, потому что это единственное дѣйствительное средство борьбы».

— Ну, вотъ, кажется, теперь мнѣ удалось выразить,—сказалъ онъ,—и, только покончивъ со статью, перешелъ къ разспросамъ о дѣлѣ, а потомъ опять вернулся къ статьѣ.

— Эту статью надо отослать такому-то. Они хотятъ помѣстить ее въ «Рѣчи». Ты слыхалъ объ этомъ?

Сергѣенко отвѣтилъ: да, и Л. Н., уйдя на прогулку, попросилъ его переписать эту статью. Тотъ переписалъ, и, хотя Л. Н. вернулся съ прогулки очень усталый, но даже не присѣлъ отдохнуть, а тотчасъ же сталъ перечитывать рукопись и, сдѣлавъ въ ней своею рукой много поправокъ, очень четко и твердо подписалъ свое имя. Несмотря на всѣ послѣдующія событія, Л. Н. не разъ возвращался къ своей статьѣ. Изъ Оптиной пустыни въ Шамардино онъ ѣхалъ одинъ, а сзади, въ другихъ саняхъ, слѣдовали за нимъ д-ръ Маковицкій и «Алеша». Юноша часто выскакивалъ изъ саней, подбѣгалъ ко Льву Николаевичу—сказать нѣсколько словъ и—обратно.

Л. Н. былъ очень бодръ, восхищался окрестностью, старыми деревьями вдоль большака, избами, крышами и т. д. Завелъ разговоръ съ ямщикомъ, высчитывалъ, сколько тотъ тратитъ въ годъ на водку и на табакъ, и такъ растрогалъ крестьянина, что онъ разрыдался. Потомъ внезапно остановилъ сани и, когда къ нему подбѣжалъ «Алеша», сказалъ:

— Что-то хотѣлъ тебѣ сказать, и забылъ. Когда вспомню, позову тебя вновь.

Поѣхали дальше и вдругъ Толстой закричалъ: «вспомнилъ, Алеша, вспомнилъ!».

Юноша вновь подбѣжалъ.

— Ахъ, какъ ты скоро бѣгаешь.—Я насчетъ статьи. Передай Сашѣ (Александрѣ Львовнѣ), чтобы она переписала, и если Владимиру Григорьевичу (Черткову) статья понравится, пусть онъ пошлетъ ее Чуковскому.

Умирая въ Астаповѣ, Л. Н. снова вспомнилъ объ этой статьѣ и говорилъ о ней Ив. Ив. Горбунову-Посадову (руководителю издательства «Посредникъ»).

Вотъ эта послѣдняя статья великаго писателя земли русской, перепечатанная всѣми газетами изъ газеты «Рѣчь» 13 ноября 1910 года:

Дѣйствительное средство.

«Само собою разумѣется, что очень радъ бы былъ сдѣлать все, что могу, для противодѣйствія тому злу, которое такъ сильно и болѣзненно чувствуется всѣми лучшими людьми нашего времени.

Но думаю, что въ наше время для дѣйствительной борьбы съ смертной казнью нужны не проламывающія раскрытыхъ дверей; не выраженія негодованія противъ безнравственности, жестокости и бессмысленности смертной казни (всякій искренній и мыслящій человекъ и, кромѣ того, еще и знающій съ дѣтства шестую заповѣдь, не нуждается въ разъясненіяхъ бессмысленности и безнравственности смертной казни); не нужны также и описанія ужасовъ самого совершенія казней; такія описанія могутъ только успѣшно подѣйствовать на самихъ палачей, такъ что люди будутъ менѣе охотно поступать на эти должности и исполнять ихъ, и правительству придется дороже оплачивать ихъ услуги.

И потому думаю, что главнымъ образомъ нужно не выраженіе негодованія противъ убійства себѣ подобныхъ, не внушеніе ужаса совершаемыхъ казней, а нѣчто совсѣмъ другое.

Какъ прекрасно говоритъ Кантъ, «есть такія заблужденія, которыя нельзя опровергнуть. Нужно сообщить заблуждающемуся уму такія знанія, которыя его просвѣтятъ, — тогда заблужденіе исчезнетъ само собою».

Какія же знанія нужно сообщать заблуждающемуся уму человѣческому о необходимости, полезности, справедливости смертной казни, для того, чтобы заблужденіе это уничтожилось само собой.

Такое знаніе, по-моему мнѣнію, есть только одно: знаніе того, что такое человѣкъ, каково его отношеніе къ окружающему его міру, или, что одно и то же, въ чемъ его назначеніе и потому что можетъ и долженъ дѣлать каждый человѣкъ, а, главное, что не можетъ и не долженъ дѣлать.

И потому, если ужъ бороться съ смертной казнью, то бороться только тѣмъ, чтобы внушать всѣмъ людямъ; въ особенности же распорядителямъ палачей и одобрителямъ ихъ, ошибочно думающимъ, что они, только благодаря смертной казни, удерживаютъ свое положеніе, — внушать этимъ людямъ то знаніе, которое одно можетъ освободить ихъ отъ ихъ заблужденія.

Знаю, что дѣло это нелегкое. Наемщики и одобрители палачей инстинктомъ самосохраненія чувствуютъ, что знанія эти сдѣлаютъ для нихъ невозможнымъ удержаніе того положенія, которымъ они дорожатъ, и потому не только сами не усваиваютъ этого знанія, но всѣми средствами... стараются скрыть отъ людей эти знанія, извращая ихъ и подвергая распространителей ихъ всякаго рода лишеніямъ и страданіямъ.

И потому, если мы точно хотимъ уничтожить заблужденіе смертной казни, и главное, если имѣемъ то знаніе, которое уничтожаетъ это заблужденіе, то давайте же будемъ; несмотря ни на какія угрозы, лишенія и страданія, сообщать людямъ это знаніе, потому что это единственно дѣйствительное средство борьбы.

(«Речь»).

Оптина пустынь,
29 октября 1910 г.

Левъ Толстой.

Послѣдніе дни Л. Н. Толстого.

Протоколъ врачей о болѣзни и смерти Л. Н. Толстого.

Считаемъ своимъ долгомъ изложить ходъ болѣзни Л. Н., которую мы, какъ врачи, наблюдали до самой его смерти.

28 октября, какъ извѣстно, Л. Н. оставилъ Ясную Поляну. Рѣшеніе уѣхать—было имъ принято послѣ продолжительной и тяжелой душевной борьбы. Состояніе его здоровья было удовлетворительное, хотя онъ чувствовалъ себя физически нѣсколько слабымъ. Изъ Ясной Поляны Л. Н. направился черезъ Чекино въ Горбачево, откуда до Козельска ѣхалъ въ тѣсномъ, переполненномъ, душномъ вагонѣ 3-го класса, прицѣпленномъ къ товарному поѣзду. Чтобы освѣжиться, онъ часто выходилъ на площадку. Изъ Козельска Л. Н. собирался поѣхать къ своей сестрѣ Марьѣ Николаевнѣ въ Шемардинъ монастырь, отстоящій въ 18 верстахъ отъ станціи. Но такъ какъ было поздно и Л. Н. былъ утомленъ дорогой, то онъ рѣшилъ переночевать въ Оптиной пустыни, въ 5-ти верстахъ отъ Козельска. На другой день, отдохнувши, Л. Н. поѣхалъ къ своей сестрѣ въ Шемардинъ, гдѣ ночевалъ и провелъ весь день 30 октября. Вечеромъ онъ жаловался на нѣкоторую слабость и недомоганіе, но, тѣмъ не менѣе, 31-го, рано утромъ, несмотря на дурную погоду, въ сопровожденіи своей дочери Александры Львовны и ея подруги—В. М. Феоктистовой, приѣхавшей къ нему наканунѣ, и Д. П. Маковицкаго, который его сопровождалъ все время; уѣхалъ на лошадахъ въ Козельскъ (18 верстъ); оттуда по Рязанско-Уральской жел. дор. по направленію на Богоявленскъ, чтобы далѣе слѣдовать въ Ростовъ-на-Дону. До полудня въ вагонѣ Л. Н. чувствовалъ себя довольно хорошо, а затѣмъ сталъ жаловаться на ознобъ. Поставленный термометръ показалъ 38,6. Въ виду лихорадочнаго состоянія и слабости Л. Н. рѣшено было оставить поѣздъ и высадиться на ближайшей большой станціи. Этой станціей оказалось Астапово, гдѣ начальникъ станціи И. И. Озолинъ любезно предложилъ помѣщеніе въ своей квартирѣ, въ отдѣльномъ домѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ вокзала. Л. Н. чувствовалъ себя уже настолько слабымъ, что съ трудомъ до-

шелъ до квартиры. Здѣсь онъ сдѣлалъ разныя распоряженія и затѣмъ съ нимъ произошелъ непродолжительный (около минуты) припадокъ судороги въ лѣвой рукѣ и лѣвой половинѣ лица, сопровождавшійся обморочнымъ состояніемъ.

Послѣ этого его уложили въ постель. Къ ночи температура поднялась до 39,8, появился кашель, насморкъ, боли въ ногахъ, перебои пульса.

Въ ночь съ 31 октября на 1 ноября, Л. Н. спалъ очень плохо. Къ утру температура спала до 36,2. Л. Н. чувствовалъ большую слабость. Весь день лежалъ въ постели, диктовалъ свои мысли, писалъ дневникъ, слушалъ чтеніе. Къ вечеру снова появился ознобъ, температура поднялась до 39,1. Л. Н. жаловался на боль въ лѣвомъ боку при дыханіи, кашлялъ. Пульсъ былъ выше 100 съ перебоями.

Было предположено воспаленіе легкихъ, положенъ согревающий компрессъ, назначено вино.

Въ ночь на 2 ноября Л. Н. спалъ плохо, стоналъ, кашлялъ. Утромъ температура была 37,2. Чувствовалъ себя весь день слабымъ. Изслѣдованіемъ установлено воспаленіе нижней доли лѣваго легкаго и предположенъ небольшой воспалительный фокусъ въ правомъ легкомъ. Пульсъ 100, 110, съ перебоями. Вечеромъ температура 39,1, ничего не ѣлъ, впалъ въ забытіе. Изъ лекарствъ давали строфантъ и вино.

Ночь на 3 ноября Л. Н. спалъ очень плохо, почти все время бредилъ, кашлялъ. Утромъ температура—36,7. Л. Н. значительно ослабѣлъ. Аппетита не было.

Констатированъ воспалительный фокусъ въ нижней долѣ лѣваго легкаго подъ лопаткой. Въ правомъ легкомъ—явленіе бронхита и застоя. Сердце расширено. При выстукиваніи слышались притупленные звуки вправо до середины грудины, влѣво—до сосковой линіи. Тоны груди выслушивались не отчетливо. Пульсъ 100, 120 съ частыми перебоями. Пульсовые волны неравномѣрны, многія пропадали. Сознаніе ясное.

Днемъ Л. Н. лежалъ, читалъ въ послѣдній разъ свой дневникъ, диктовалъ свои мысли, просилъ читать ему вслухъ. Почти ничего не ѣлъ. Дѣятельность сердца къ вечеру нѣсколько улучшилась.

Ночь на 4 ноября провелъ очень тревожно. Всю первую половину ночи бредилъ, стоналъ. Утромъ температура 38,1, слабость увеличилась. Л. Н. уже не писалъ дневникъ. Изрѣдка пытался

диктовать свои мысли. Бредилъ днемъ. Воспалительный процессъ въ легкомъ безъ перемѣны. Изрѣдка кашлялъ и отхаркивалъ желтоватую густую мокроту въ очень небольшомъ количествѣ. Частота дыханія увеличилась до 36. Дѣятельность сердца слабая. Пульсъ чаще (120, 130), перебоевъ больше. Отказался отъ пищи и лѣкарства. День—большая слабость. Во время пробужденія отъ сна сознаніе вполне ясное. Говорилъ очень мало. Мало интересовался окружающимъ.

Въ ночь на 5-е почти не спалъ. Былъ очень возбужденъ. Все бредилъ, метался въ постели, то садился, то снова ложился. Говорилъ невнятно. Сильная одышка (40,44), плохой, слабый пульсъ. Ночью—два впрыскиванія 2-хъ-процентнаго раствора камфоры. Утромъ температура 37,1. При выслушиваніи сердца разстройство ритма (эмбриокордія), угнетенное и подавленное состояніе. Тѣмъ не менѣе сознаніе ясное. Восприимчивость ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ не понижена. Почти на всѣ предложенія пищи отвѣчалъ отказомъ и просилъ возможно меньше тревожить его. Не позволялъ себя перекладывать на другую постель. За день впрыснуто 2 шприца дигалена, три—камфоры, 1—кодеина. Температура вечеромъ 37,4.

Первую половину ночи на 6-е ноября спалъ довольно спокойно, вторую—тревожно. Пульсъ былъ слабый, частый, съ большими перебоями... За ночь впрыснуто два шприца камфоры. Температура утромъ 37,2, большая слабость. Утромъ подъ кожу впрыснуть дигалень и камфора.

Около полудня состоялся консилиумъ съ докторами Щуровскимъ и Усовымъ. При изслѣдованіи найдено:—воспалительный процессъ въ легкомъ въ прежнемъ положеніи. Дѣятельность сердца слабая. Значительное число пульсовыхъ волнъ не доходить. Размѣры сердца прежніе. Ритмъ сердца неправиленъ. Слабость, сознаніе ясное. Около двухъ часовъ дня неожиданное возбужденіе. Сѣлъ на постель и громкимъ голосомъ внятно сказалъ окружающимъ: «Вотъ и конецъ, и ничего», а затѣмъ: «Только одно я прошу вспомнить: на свѣтѣ пропасть народу, кромѣ Льва Толстого, а вы помните одного Льва».

Вслѣдъ за этимъ наступилъ рѣзкій упадокъ сердечной дѣятельности (collab), пульсъ едва-едва ощущался. Появилась синевая (ціанозъ) ушей, губъ, носа, ногтей. Конечности похолодѣли. Впрыснуты два шприца камфоры, одинъ кодеина. Примѣнено дыханіе кислородомъ и согрѣваніе конечностей. Понемногу

пульсъ сталъ улучшаться. Цианозъ исчезъ и больной заснулъ. Къ вечеру самочувствіе было нѣсколько лучше. Сдѣлано впрыскиваніе дигалена, затѣмъ камфоры. Л. Н. попросилъ ѣсть. Выпилъ въ теченіе вечера три маленькихъ стаканчика молока и съѣлъ немного овсянки.. Сознаніе было вполне ясное.

Послѣ полуночи одышка дошла до 60 дыханій въ минуту. Л. Н. сталъ стонать, метаться на постели, вскакивать. Состояніе тоски, недостатка воздуха было настолько мучительно, что было рѣшено впрыснуть 0,01 камфоры (въ 12 час. 15 мин. ночи). Л. Н. заснулъ. Одышка уменьшилась до 36. Въ 2 часа ночи пульсъ, несмотря на впрыскиваніе камфоры, сталъ падать, сдѣлался нитевиднымъ. Предпринято впрыскиваніе сильнаго раствора, но замѣтнаго вліянія на пульсъ это не оказало. Тѣмъ не менѣе, сознаніе еще сохранилось. Л. Н. реагировалъ на облики. Сдѣлалъ одинъ, два глотка предложенной воды. Въ виду опасности положенія, была приглашена вся семья. Въ 5 часовъ утра пульсъ сталъ пропадать, дыханіе сдѣлалось поверхностнымъ и въ 6 час. 5 мин. утра по московскому времени Л. Н. тихо, безъ страданій, скончался, окруженный женой, дѣтьми и друзьями.

Л. Н. лежалъ, какъ прежде было сказано, въ домѣ начальника станціи И. И. Озолина, гдѣ въ его распоряженіи были двѣ довольно большія комнаты. Съ гигиенической стороны обстановка была удовлетворительна. Непосредственный уходъ за Л. Н. лежалъ на врачахъ, его дочери Александрѣ Львовнѣ, ея другѣ В. М. Феоктистовой и В. Г. Чертковѣ. Нѣсколько разъ у постели больного были его дѣти: Татьяна Львовна Сухотина и Сергѣй Львовичъ. Остальные члены семьи все время находились вблизи, но въ комнату больного не входили. На семейномъ совѣтѣ, согласенно съ заключеніемъ врачей, было рѣшено, чтобы никто другой изъ родныхъ не входилъ къ Льву Николаевичу, такъ какъ были основанія думать, что Л. Н. сильно взволнуется при появленіи новыхъ лицъ, что могло роковымъ образомъ отразиться на висѣвшей на волоскѣ его жизни.

Смерть Л. Н. послѣдовала отъ быстро наступившаго упадка сердечной дѣятельности. Во время прежнихъ тяжелыхъ заболѣваній дѣятельность сердца также бывала очень ослабленной, но, благодаря своему крѣпкому организму и, главнымъ образомъ, необычайнымъ душевнымъ силамъ, Л. Н. выходилъ побѣдителемъ изъ борьбы. Это давало надежду, что и на этотъ разъ сильный организмъ Л. Н., хотя и постарѣвшій, но достаточно

крѣпкій, побѣдить инфекцію. Однако, по нашему мнѣнію, сильныя душевныя потрясенія послѣдняго времени и утомленіе отъ необыкновеннаго путешествія настолько ослабили нервную систему и сердце Л. Н., что болѣзнь приняла сразу тяжкій характеръ и привела къ роковому концу. Всѣхъ ухаживавшихъ за нимъ Л. Н. трогалъ своей ласковостью и нѣжнымъ отношеніемъ, которое никогда не изгладится у тѣхъ, кому на долю выпало счастье послужить Льву Николаевичу въ послѣдніе дни его жизни.

Д. И. Маковицкій.

Д. В. Никитинъ.

Г. М. Беркенгеймъ.

— — —

*Ясная Поляна,
9 ноября 1910 г.,*

Смерть Л. Н. Толстого.

Началомъ конца надо считать второй припадокъ слабости сердца въ началѣ 2-го часа 7 ноября,—говорить корреспондентъ «Русскихъ Вѣдомостей»:—«Часъ назадъ изъ домика были получены свѣдѣнія о покойномъ снѣ при сравнительной тишинѣ. Покой былъ обманный. Ровно часъ спустя пишущій эти строки, идя за новыми свѣдѣніями о здоровьѣ, столкнулся въ темнотѣ лицомъ къ лицу съ Беркенгеймомъ. Онъ былъ блѣденъ. На глазахъ у него сверкали слезы. Онъ искалъ графиню, на ходу тревожно бросая слова: «Опять припадокъ сердечной слабости». Не слова, такъ глаза и лицо говорили, что страшное пришло додѣлывать послѣдній шагъ къ своей жертвѣ. Побѣжала съ сыновьями графиня, прибѣжали ближайшіе друзья Горбуновъ, Буланже и Гольденвейзеръ. Потомъ отчаянье какъ будто стало не такимъ острымъ, и Усовъ посовѣтовалъ графинѣ и другимъ идти спать. Тѣ пошли.

Однако надежды врачей были очень скромныя, всего на нѣсколько часовъ. Пульсъ становится еще слабѣе; трудно было найти его. Скоро Усовъ пошелъ въ вагонъ, гдѣ жили Толстые, и сказалъ, что хочетъ пустить графиню къ Льву Николаевичу. Графиня вскочила и побѣжала. Она вошла, тихо припала къ лицу мужа, поцѣловала его руки и скоро перешла въ соседнюю комнату. Толстой лежалъ на спинѣ, слегка закинувъ голову, поднявъ и согнувъ лѣвую ногу, а правую вытянувъ. Онъ сильно стоналъ, сознание было, и онъ противился впрыскиваніямъ, дѣлалъ движеніе, чтобы отвернуться, пробовалъ показать жестомъ, что ему нужно. Когда подносили къ зрачкамъ свѣтъ, зрачки реагировали. Появленіе жены не отразилось замѣтнымъ признакомъ. Кто возьмется сказать, узналъ ли онъ ее.

Сердце все слабѣло, пустили въ ходъ кислородъ, камфору, дигаленъ. Ничто не помогало. Жизнь тихо, но вѣрно уходила, пульсъ становился неувидимымъ совершенно, біенія сердца не

слышно. Опять вошла графиня и всѣ бывшіе въ сосѣднихъ комнатахъ. Конецъ былъ ясенъ. Одинъ изъ врачей припалъ къ сердцу и въ комнатѣ раздалися слова: «Его больше нѣтъ».

Толстой великій умеръ, умеръ совершенно спокойно и тихо. Это говорили въ мимолетныхъ бесѣдахъ среди общаго ужаса и растерянности всѣ бывшіе свидѣтелями: Горбуновъ, Буланже, Гольденвейзеръ. Сыновья и врачи пошли въ сосѣднюю комнату совѣщаться о формѣ бюллетеня. Гольденвейзеръ черезъ форточку сказалъ находившимся на дворѣ страшную вѣсть. Илью Львовича покачнувшася ввели въ домъ. Оттуда вышелъ рыдающій Буланже, огласилъ бюллетень, и телеграфные аппараты поспешили по всему міру вѣсть великой скорби: «Его больше нѣтъ».

Графиня ушла, но потомъ вернулась около семи часовъ. Всѣ ушли и оставили ее вдвоемъ съ дорогимъ прахомъ. Она пробыла минутъ десять.

Какъ сегодня передавали, самъ Толстой ясно сознавалъ, что подходитъ къ послѣднему земному рубежу, и объ этомъ говорилъ нѣсколько дней назадъ. Бывшіе вчера подлѣ него говорятъ, что послѣдними словами вполне ясными были: «На свѣтѣ много людей, а вы все объ одномъ Львѣ». Такъ сказалъ онъ Александрѣ и Татьянѣ Львовнамъ. Часовъ 6 потомъ онъ говорилъ безсвязно, а къ ночи совсѣмъ затихъ. То, что онъ говорилъ раньше, записано Чертковымъ и Маковицкимъ и, надо думать, будетъ опубликовано.

Толстого обмыли и одѣли теплые чулки, суконные туфли, сѣрые штаны и черную блузу. Пришлось думать о похоронахъ. Ихъ характеръ предрѣшенъ волею почившаго, ясно вытекающею изъ всей его жизни. Семья отказывается отъ тѣни пышности и парада, похороны будутъ безъ всякихъ обрядовъ, самыя скромныя и скорыя, какъ того желалъ самъ Толстой.

Сегодня утромъ тѣло переложатъ въ двойной гробъ, цинковый и деревянный. Вечеромъ вчера было особенно много народу, нѣсколько разъ пѣли вѣчную память. Приѣзжаетъ художникъ Пастернакъ срисовать Толстого мертваго. Растутъ телеграммы отъ отдѣльныхъ лицъ, группъ, учреждений, тамбовскаго губернатора Муратова. Сыновья по очереди дежурятъ у тѣла всю ночь. Мѣстные обыватели возлагаютъ вѣнки съ весьма скромными, но трогательными надписями.

(«Русск. Вѣдомости»).

— Это была страшная ночь,—говорить корреспондентъ «Столичной Молвы»;—о снѣ никто не думалъ. Нервы были напряжены до послѣдней степени. Не давая себѣ отчета, даже на станціи говорили шепотомъ, словно у самой постели больного. Въ ненастную осеннюю ночь перебѣгали тѣни отъ домика, гдѣ томился больной, къ станціи и обратно. И у самаго домика, у оконъ теперь исторической комнаты, гдѣ обычно было безлюдно, движутся безшумныя тѣни, скрываясь въ густомъ туманѣ. Каждого приходящаго изъ дома начальника станціи засыпаютъ вопросами. И блѣдныя, взволнованныя лица приходящихъ прибавляютъ еще больше тревоги. Внезапное ухудшеніе, наступившее около 2-хъ часовъ ночи, почти уже не оставляло сомнѣній въ печальномъ исходѣ.

Больной пережилъ цѣлый рядъ сердечныхъ припадковъ и впалъ въ забытѣе. Сознаніе къ нему уже не возвращалось.

Больше онъ не проронилъ ни слова. И послѣдними словами его остались тѣ, съ которыми онъ обращался къ дочери Татьянѣ Львовнѣ. Эти слова передаютъ различно, но общій смыслъ ихъ таковъ: «Сколько на свѣтѣ страдающихъ людей, а вы думаете только о Львѣ Толстомъ». Связной рѣчи отъ Толстого больше не слышали.

У постели больного собралась вся семья, въ томъ числѣ и Софья Андреевна, впервые допущенная къ мужу. Медленно тянулись часы тяжелаго ожиданія. Въ 6 часовъ утра больной какъ будто очнулся отъ сна, застоналъ, вытянулся, глубоко вздохнулъ—и умеръ. Умеръ тихо, безъ агоніи. Такъ быстро, что не вѣрилось въ смерть. Послѣдняя теплилась надежда: можетъ быть, заснулъ? Докторъ Никитинъ осторожно приподнял вѣко, поднесъ свѣчу. Зрачекъ еще реагировалъ, чуть замѣтно качнулась голова. Но скоро все кончилось. Было 6 ч. 5 м. утра.

(«*Стол. Молва*»).

— Всю ночь,—пишетъ корреспондентъ «Рѣчи»,—у тѣла дежурили желѣзнодорожные служащіе, сыновья почившаго, Философовъ и Дунаевъ. Около полуночи пришла графиня и просидѣла подлѣ изголовья всю ночь. Часовъ въ семь привезли гробъ—свѣтло-коричневый, внутри цинковый, съ свѣтлыми металлическими ручками и ножками. Графиня стала умолять не перекладывать тѣла, пока Л. Н. въ постели; ей кажется, что онъ только спитъ, она боится увидать его въ гробу. Отложили положеніе въ

гробъ до десяти часовъ. Бесѣдовалъ съ управляющимъ дорогой Матренинскимъ о возможности выкупа у дороги дома, гдѣ умеръ Толстой. Это, по его словамъ, сопряжено съ громадными трудностями, ибо домъ находится на полосѣ принудительнаго отчужденія. Требуется отказъ отъ своихъ правъ прежняго владѣльца или наслѣдниковъ. Матренинскій говоритъ, что дорога сама, несомнѣнно, позаботится объ охраненіи дорогого для Россіи уголка и сдѣлаетъ это заботливо. Пока же поспѣшить прибить памятную доску.

10 час. 50 мин. утра.

У входа въ историческій домикъ большая, все нарастающая толпа.

Короткій путь къ вокзалу усыпанъ ельникомъ.

Подали печальный поѣздъ. Въ концѣ его багажный коричневый вагонъ для гроба. Стѣны вагона убраны вѣнками соломы и ельникомъ. Посрединѣ черный помостъ.

Въ домикѣ и во дворѣ такъ много народа, что нельзя пройти.

12 час. 28 мин. дня.

Тѣло положили въ гробъ. Кровать съ постелью вынесли во дворъ. Толпа обступила ее и стала срывать зелень, которой убрана кровать.

Д а н к о в о .

2 часа 59 мин. дня.

Мимо гроба, поставленнаго на столѣ; почти посрединѣ комнаты, нескончаемо движутся желающіе проститься. Многіе плачутъ; опускаются на колѣни; часть крестится.

20 минутъ второго позвали графиню и сыновей. Прощаніе—самое короткое.

Черезъ двѣ минуты показался гробъ. Толпа во дворѣ обнажила головы, запѣла «Вѣчную память».

Гробъ открытъ. Его несутъ сыновья и нѣсколько близкихъ.

Еще двѣ-три минуты—загрохотала отодвигаемая дверь багажнаго вагона, показался черный помостъ, прибитые къ стѣнѣ крестъ-на-крестъ снопы соломы.

Въ половинѣ второго гробъ поставленъ въ вагонъ.

Сорокъ минутъ второго великій Толстой тронулся въ свой послѣдній путь.

В о л о в о .

5 час. 10 мин. дня.

Промелькнули нѣсколько станцій. Въ Куркинѣ, гдѣ была остановка, открыли траурный вагонъ, приставили лѣсенку. Вошелъ Илья Львовичъ; одинъ за другимъ потянулись въ вагонъ ожидавшіе на станціи, опускались передъ гробомъ на колѣни.

Горбачево.

8 час. 10 мин. вечера.

Нашъ траурный поѣздъ прибылъ сейчасъ въ Горбачево.

Здѣсь дорогой прахъ останется на ночь. Въ девять часовъ утра тѣло будетъ въ Засѣкѣ, въ виду Ясной Поляны.

Сыновья предлагаютъ, чтобы тѣло было выставлено для прощанія на самой дорогѣ, почти противъ дома, подъ деревомъ нищихъ.

Графиня Софья Андреевна настаиваетъ, чтобы гробъ внесли въ домъ.

Пока рѣшенія нѣтъ.

8 час. 40 мин. вечера.

Сейчасъ узналъ отъ Андрея Львовича Толстого, что Л. Н. оставилъ послѣднюю волю относительно похоронъ. Она записана Толстымъ въ одномъ изъ дневниковъ; оттуда выписана и подписана Толстымъ.

Л. Н. проситъ похоронить его безъ обрядовъ православной церкви, очень просто, на томъ мѣстѣ, гдѣ зарыта зеленая палочка.

Въ объясненіе Андрей Львовичъ передалъ, что тутъ цѣлая легенда.

Толстой съ братьями въ дѣтствѣ образовали свой особый орденъ. Между прочимъ, зарыли за паркомъ зеленую палочку; вѣря, что когда выкопаютъ палочку,—процвѣтетъ на землѣ добро.

Толстой любилъ вспоминать это и часто рассказывалъ о палочкѣ. Теперь онъ съ нею связалъ свою послѣднюю волю.

10 час. 30 мин. вечера.

Открывали вагонъ. Мѣстными жителями возложили вѣнокъ.

10 час. 30 мин. вечера.

Станція переполнена. Нельзя двигаться.

Ночью приѣдетъ Татьяна Львовна съ мужемъ.

Рѣшено гробъ внести въ домъ и поставить въ залѣ.

11 час. 45 мин. вечера.

Въ половинѣ двѣнадцатаго опять открыли вагонъ. Дорожный фонарь скупо освѣтилъ внутренность вагона и чернаго ящика, въ которомъ заключенъ гробъ. Быстро наполнился вагонъ.

(«Рѣчь»).

Похороны.

На станціи «Козловская Засѣка» поѣздъ, везшій гробъ съ прахомъ великаго писателя земли русской, прибылъ около 8 час. утра, 9 ноября. Наканунѣ вечеромъ изъ Москвы выѣхала туда же масса народа для присутствія на похоронахъ Л. Н. Толстого.

«— Курскій вокзалъ въ Москвѣ, — рассказываетъ священникъ Гр. Петровъ, — былъ переполненъ народомъ: студенты, студентки, общественные дѣятели, артисты, профессора и опять сотни и сотни учащейся молодежи. Толпы народа предъ билетными кассами, толпы въ пассажирскихъ залахъ, толпы на улицѣ, предъ входомъ.

На лицахъ всѣхъ — озабоченность, всѣ думаютъ и хлопочутъ объ одномъ: какъ бы попасть въ Ясную Поляну. Тѣнь дорогого покойника и здѣсь уже, очевидно, вѣетъ надъ толпами. Всѣ сдержанны, взаимно предупредительны. Говорятъ о томъ, что не въ очередь пойдутъ ряды поѣздовъ до желанной «Засѣки».

Въ восемь двадцать отходить одинъ поѣздъ. Въ десятомъ садимся мы въ вагонъ. Вдуть представители Москвы, московскихъ театровъ. Ранѣе на станціи и теперь въ поѣздѣ глаза многихъ пытливо ищутъ лицъ, пріѣзжихъ изъ Петербурга. Называютъ имена художниковъ, писателей, членовъ Думы, — Рѣпина, М. Стаховича, А. Кони, Леонида Андреева, Куприна, Арцыбашева, Чирикова, Немировича-Данченка, Родичева, Милюкова.

— Гдѣ они?

— Кто изъ Петербурга?

Не видать никого. Предполагаютъ, что они подѣдутъ послѣ. Долженъ быть изъ Петербурга особый, прямой до «Засѣки» поѣздъ. Обычно бодрый и увѣренный въ себѣ, писатель В. Г. Танъ ходитъ, очевидно, подавленный тяжкою потерей, и сообщаетъ, что онъ по телефону говорилъ съ писателемъ С. Я. Елпатьевскимъ, который заявилъ ему изъ Петербурга о своемъ выѣздѣ на похороны Л. Толстого.

Мы оставляемъ за собою на станціи въ Москвѣ тысячныя толпы и ѣдемъ. Впереди—раннее вставаніе, но спать не хочется. Всѣ говорятъ объ одномъ: о великомъ старикѣ.

— Какая сила, какая величина! И какое непрестанное, до послѣдняго дня 82-лѣтней жизни, горѣніе. Живой священный кустъ, который видѣлъ нѣкогда Моисей и который горѣлъ и не сгоралъ.

— А что если старикъ вобралъ въ себя весь геній народа и опустошилъ народную душу?—тревожно задаетъ вопросъ одинъ молодой писатель.

— Онъ обѣднелъ, а не опустошилъ,—поправляетъ вдумчиво другой.—Смутныя, неясныя, стихійныя движенія народнаго духа Л. Толстой осмыслилъ и художественно оформилъ ихъ.

И опять рѣчь сбивается на имена видныхъ писателей: гдѣ эти лица, будутъ ли они въ Полянѣ?

— На десятилѣтнемъ юбилеѣ Арцыбашева были десятки писателей, неужели на похоронахъ Льва Толстого не будетъ свѣтилъ русскаго художественнаго слова?

— Не знали въ воскресенье въ Петербургѣ, что похороны будутъ во вторникъ и въ Полянѣ,—объясняютъ случайные въ поѣздѣ петербуржцы,—собирается много народа, десятки обществъ шлютъ своихъ представителей, но успѣютъ ли?

За бесѣдою подъѣзжаемъ къ Серпухову,—около часа ночи, а въ четвертомъ утра уже и «Засѣлка». Бесѣда смолкаетъ, и всѣ засыпаютъ.

Черезъ три часа «Засѣлка». Утро еще не свѣтаетъ, темно. Погода мягкая. На станціи уже толпа народа: все больше молодежь. Въ толпу молодежи вкрашены артисты Южинъ, Вишневскій, Оленинъ, О. Л. Книпперъ. Встрѣчается писатель изъ крестьянъ С. Т. Семеновъ, близкій къ Л. Толстому. Онъ только что изъ «Астапова». Живымъ Льва Николаевича не засталъ, но бесѣдовалъ съ бывшими подлѣ умиравшаго въ послѣднія минуты.

— Хорошо умиралъ старикъ,—умиленно говоритъ старикъ С. Т. Семеновъ.—Почти самыми послѣдними словами его были:

— Вотъ и конецъ!.. И какъ просто... какъ хорошо!

Дальше мысли начали путаться, слышались слова:

— Сережа... бѣжать... бѣжать...

Поѣздъ съ дорогимъ прахомъ ждутъ не скоро, не ранѣе восьми. Остается еще около трехъ часовъ, но о снѣ никто не ду-

масть. Поджидаютъ еще поѣздовъ изъ Москвы, а ихъ нѣтъ и нѣтъ. Считаютъ, сколько, приблизительно, уже есть людей:

— Тысячи три.

— Наберется и пять.

Наконецъ, подъѣзжаетъ еще поѣздъ, въ немъ болѣе тысячи студентовъ. За нимъ другой, съ частью оставшихся въ Москвѣ на станціи. Часть очень маленькая; большинство и сюда не попало, даже ректоръ московскаго университета проф. Мануиловъ — и тотъ остался въ Москвѣ. Пропала надежда и на пріѣздъ петербуржцевъ.

Близко къ восьми утра. На товарную платформу приглашаютъ близкихъ и родныхъ Льва Николаевича. Тамъ же стоятъ яснополянскіе и сосѣдніе, телятниковскіе, крестьяне съ трогательнымъ послѣднимъ привѣтствіемъ «дорогому Льву Николаевичу», начертаннымъ на полосѣ бѣлаго коленкора черными буквами.

Часовая стрѣлка показываетъ восемь, переходитъ еще минуту, другую, третью,—вдали на желѣзнодорожномъ пути заблудился дымокъ. Собравшіеся на платформѣ замерли. Дымокъ ближе и ближе, короткій поѣздъ подходитъ къ станціи. По рукамъ и плечамъ пробѣгаетъ нервная дрожь. Во рту становится сухо. Глаза ищутъ: гдѣ—впереди или въ концѣ поѣзда жуткій вагонъ?

Поѣздъ у самой платформы. Съ нимъ словно чудо: онъ перестаетъ быть мертвымъ механизмомъ. Онъ словно чувствуетъ самъ общую всѣмъ скорбь. Короткій, онъ какъ бы подобрался весь въ комокъ. Двигается медленно, все тише и тише. Отъ него вѣетъ жутью. И онъ не то хотѣлъ бы, бросившись вдругъ впередъ, проскочить мимо, увести вдаль охватившую и его, и всѣхъ скорбь, не то остановиться, не дойдя до платформы, чтобы хотя на мигъ отдалить отъ насъ роковую вѣсть, которую онъ привезъ внутри себя.

Раздается одинъ... другой... третій свистки. Короткіе, обрывистые, сдержанные, чуждые и тѣни рѣзкости. Это не обычные паровозные свистки, а, скорѣе, сквозь усилія сдержатъ себя вырвавшіяся всхлипыванія:

— Ахъ!.. Ахъ!.. Ахъ!..

Въ окнѣ мелькнуло лицо Софьи Андреевны. Поѣздъ остановился, продвинулся чуть еще, стали выходить изъ вагоновъ. Все свои, близкіе семьѣ Толстыхъ. Софья Андреевна, неузна-

ваемая, разбитая, выходитъ съ палочкою въ рукѣ и, растерянно показывая ее близстоящимъ, говорить :

— Его палочка.

Открываются широкія двери вагона «съ нимъ». Пятюкъ фотографовъ наставляютъ «кодаки», трещатъ кинематографическіе аппараты. Съемщиковъ просятъ отойти. Они и сами знаютъ, что мѣшаютъ, и вмѣстѣ чувствуютъ, что данный моментъ дорогъ миллионамъ людей въ разныхъ концахъ міра. Ихъ также хочется сдѣлать участниками встрѣчи. И съемщики отходятъ въ задніе ряды, просовываютъ аппараты чрезъ головы стоящихъ впереди.

За дорогой гробъ берутся сыновья Льва Николаевича, яснополянскіе крестьяне и два-три ученика Толстого.

Гробъ всю дорогу до Ясной Поляны, четыре версты, несутъ на рукахъ. На гробу, во исполненіе воли покойнаго, никакихъ другихъ вѣнковъ, кромѣ скромнаго вѣнка яснополянскихъ крестьянъ. Остальные вѣнки везутъ впереди.

Гробъ легкій, нести его нетяжело. Хочется съ дорогою ношею дойти до самой могилы, чувствуя, что онъ, этотъ великій и вмѣстѣ такой простой, дорогой старикъ вотъ тутъ, у тебя на плечѣ, и что это уже послѣднее, послѣднее физическое соприкосновеніе съ нимъ, но у гроба такъ много желающихъ хотя прикоснуться къ ручкамъ, что итти почти нѣтъ возможности: ноги идущихъ переплетаются, и приходится смѣняться.

Дорога идетъ то подъ гору, то въ гору, среди частыхъ и большихъ рощъ. Идущіе растянулись по дорогѣ длинною-длинною, вьющеюся змѣею. Поодаль отъ дороги, вдоль опушки лѣса и рощъ, прижавшись къ самымъ деревьямъ, ѣдутъ десятки конныхъ стражниковъ.

Припоминается конная фигура съ картины И. Рѣпина «Крестный ходъ». Самыя похороны вырисовываются совершенно новою, небывалою нигдѣ и никогда картиною. Это—похороны не только Л. Толстого, но, именно, толстовскія, по-толстовски устроенныя похороны. Все упрощено, опрощено до послѣдней степени. Духъ великаго опрощенца витаетъ надъ всею похоронною толпою. Впереди везутъ груды вѣнковъ. Вѣнки изъ серебра, фарфора, дорогихъ живыхъ двѣтовъ—сложены на четыре крестьянскихъ подводы, на которыхъ въ рабочую пору возятъ, можетъ-быть, навозъ въ поле.

И такъ ярко, такъ осязательно выступаетъ тутъ вся дешовка

обычной нашей городской мишуры и суеты даже въ великія минуты смерти. Хоронятъ мірового генія, величайшаго изъ живущихъ и жившихъ съ нами людей, и ни катафалковъ, ни балдахиновъ. ни фонарей, ни даже тысячъ праздноѣ толпы зрителей на улицѣ.

Только тѣ, кто ради покойнаго позабылъ и о спѣ, и объ ѣдѣ, кто, какъ студенческая молодежь, отдали на дорогу свои послѣдніе 6—7 рублей, шли за гробомъ, а по бокамъ тянулись голыя обмерзшія поля, въ скорбномъ раздумьѣ качали своими безлистными вѣтвями деревья.

Съ узкой дороги между канавами и оврагами вышли на ровный просторъ полей, и гробъ подняли надъ головами, понесли на плечахъ. По толпамъ идущихъ съ конца въ конецъ, не смолкая, перекатывалось :

— Вѣчная память, вѣчная память, вѣчная память...

Около одиннадцати были уже у воротъ завѣтной Ясной Поляны. По бокамъ усадьбы виднѣются десятины плодовыхъ деревьевъ: все—дѣло рукъ самого, ушедшаго отъ насъ. А вотъ, подъ окнами уютнаго двухъэтажнаго каменнаго домика Н. Бердяевъ, С. Булгаковъ, Жуковский. Они, а съ ними и сотни другихъ спрашиваютъ :

— Гдѣ окна рабочей комнаты Льва Николаевича?

Толпа залила домъ со всѣхъ сторонъ. Тѣло внесли и поставили внизу, рядомъ съ бывшимъ кабинетомъ Льва Николаевича. Простились съ дорогимъ прахомъ родные. Пустили пришедшихъ.

Крышка гроба открыта. Среди голыхъ, простыхъ стѣнъ, на простомъ столѣ, въ простомъ деревянномъ гробѣ лежитъ онъ, самъ такой простой и вмѣстѣ столь великій въ своей простотѣ.

Отъ былого, «великаго Толстого» остался простенькій, невидный, съ восковымъ лицомъ, спящій старичокъ и, видя, что тутъ глядѣтъ не на что, вы тѣмъ сильнѣе чувствуете невидимое присутствие великаго духа покойнаго, который, какъ бы указывая на останки, говоритъ :

— Вотъ и вся скорлупа твоего орѣха, вся оболочка твоихъ думъ, чувствъ и рѣшеній. Маленькое, жалостное, но въ немъ можетъ быть духъ, объемлющій всю міровую жизнь. Тѣло уйдетъ сейчасъ въ могилу, а духъ твой останется—въ добрѣ или въ злѣ—и будетъ жить и творить.

Поклонившіеся дорогому праху идутъ къ могилѣ. Она за

оградой усадьбы, въ лѣсу, на углу двухъ лѣсныхъ дорогъ, въ крохотномъ холмикѣ надъ оврагомъ.

И съ могилою, какъ и съ похоронами и съ концомъ жизни, отошелъ въ сторону отъ міра учитель міра.

Мѣсто могилы Л. Толстой выбралъ самъ. Дѣтьми онъ съ любимымъ братомъ Сергѣемъ уходилъ изъ усадьбы сюда въ лѣсъ и любилъ сидѣть на пригоркѣ надъ оврагомъ.

— Здѣсь зарыта зеленая палочка,—говорилъ маленькій Левъ,—и кто эту палочку отроетъ, тотъ будетъ великъ и счастливъ.

Умирая, Левъ Толстой вспомнилъ свое дѣтство и сказалъ:

— Похороните меня тамъ, гдѣ зеленая палочка.

И будетъ теперь могила въ лѣсу при дорогѣ, какъ путеводный столбъ - указатель дальнѣйшимъ поколѣніямъ въ ихъ жизни среди лѣса исканій и заблужденій.

*Гр. Петровъ.
(Рус. Слово.)*

Другой корреспондентъ той же газеты передаетъ слѣдующія впечатлѣнія:

— Какъ-то всѣ сразу поднялись со своихъ мѣстъ, не сговаривались, не совѣщались.

Тысячи интеллигентныхъ людей, занятые повседневною работою, почувствовали, что не могутъ оставаться дома, что должны быть ближе къ останкамъ того, кому они поклонялись при жизни.

Открылось паломничество русской интеллигенціи для поклоненія почившему. Кое-какая организація этого паломничества была создана на скорую руку, и она бы справилась со своей задачей. при участіи желѣзнодорожной администраціи, если бы не помѣшали «независящія обстоятельства», которыя вырастаютъ у насъ на пути каждый разъ, когда пульсъ общественной жизни начинается биться напряженно и быстро.

Изъ огромной, колоссальной массы людей, жаждавшихъ попасть въ Ясную Поляну ко дню погребенія Толстого, попали только три - четыре тысячи человѣкъ.

Къ нимъ присоединились крестьяне окрестныхъ деревень, приѣзжіе съ ближнихъ станцій, что составило всего около пяти тысячъ человѣкъ, которымъ и выпало на долю проводить тѣло великаго писателя земли русской къ мѣсту послѣдняго упокоенія.

Нашъ поѣздъ, такъ-называемый делегатскій, прибылъ на станцію «Козлова-Зассѣвка» около 4-хъ часовъ ночи.

Маленькая, всегда безлюдная, станція жила въ эту ночь необычайной, лихорадочной жизнью.

Всѣ станціонныя помѣщенія, платформы и самые желѣзно-дорожные «пути» переполнены, непрерывно стучить телеграфъ, то и дѣло подходятъ и уходятъ поѣзда.

Въ ночной темнотѣ двигаются длинной вереницей вагоны, строятся одинъ за другимъ поѣзда, отводимые на запасные пути.

Вслѣдъ за депутатскимъ поѣздомъ пришелъ длинный специальный поѣздъ, состоящій исключительно изъ переселенческихъ вагоновъ 4-го класса сибирской дороги.

Всѣ вагоны буквально набиты, но это «переселенцы» особаго рода—студенты высшихъ учебныхъ заведеній Москвы. У нихъ оказалась своя организація, довольно строгая; почти военная.

— Товарищи, стройся у вагоновъ!

— Петровцы по правую сторону, техники налѣво!

— Хоръ впередъ!—раздаются въ ночной тѣмѣ голоса своеобразной команды.

И шеренги размѣщаются въ темнотѣ, образуя двойныя и даже тройныя «цѣпи».

А потомъ подошелъ еще одинъ поѣздъ, съ которымъ прибыли : апоздавшія депутаціи.

Ждали еще и еще поѣздовъ, и изъ Москвы, и изъ Петербурга, но, по «независящимъ обстоятельствамъ», ожиданія не оправдались.

Съ шести часовъ утра стали размѣщаться для встрѣчи погребальнаго поѣзда.

Товарная платформа была отведена для депутаціи, вѣнковъ и хора.

Это былъ необыкновенный хоръ изъ студентовъ, крестьянъ и крестьянскихъ ребятишекъ, которые оцѣпили густымъ кольцомъ всю платформу.

Размѣщались довольно долго, но безъ особой суеты и безъ давки.

— Поѣздъ идетъ!

Стихла платформа и вся масса людей, расположенная вокругъ нея.

Толпа раздалась на двѣ половины, оставивъ широкій проходъ,

который замыкали крестьяне, державшіе на двухъ шестахъ полотнище съ нашитыми на немъ черными буквами:

«Левъ Николаевичъ! Память о добрѣ твоемъ не умереть среди осиротѣвшихъ крестьянъ Ясной Поляны».

Тихо и какъ-то беззвучно подошелъ погребальный поѣздъ.

— Шапки!—сказалъ кто-то въ толпѣ, и вся масса людей благоговѣйно обнажила головы.

Вотъ проползъ паровозъ, безъ свистка, тихо, медленно.

За нимъ пассажирскіе вагоны 1-го класса, одинъ и другой.

Въ окнахъ—лица жандармовъ и незнакомыхъ людей.

Но вотъ и послѣдній вагонъ, глухой, безъ оконъ, огромный вагонъ, который вплотную подошелъ къ платформѣ.

Поѣздъ остановился.

— Здѣсь!—пронеслось въ толпѣ, и всѣ взоры обратились къ закрытой двери вагона.

И первое, что бросилось въ глаза, это была надпись большими черными буквами на этой двери:

— Багажъ.

«Багажъ» подали къ товарной платформѣ!..

Первой на платформѣ появилась фигура тепло укутанной согбенной старухи.

Это была графиня Софья Андреевна съ лицомъ, столь непохожимъ на извѣстные ея портреты, съ лицомъ, на которомъ были написаны безконечная печаль и страданіе.

Она сдѣлала шагъ, другой и зашаталась.

Ей подали стулъ. Она опустилась на него, оперлась рукой на палку, бывшую въ ея рукахъ, и, въ рыданіи, поникла головой.

Тѣмъ временемъ открыли двери вагона и вынесли изъ нихъ гробъ, желтый деревянный гробъ, который почему-то показался такимъ маленькимъ и короткимъ.

Его подняли, и первые понесли яснополянскіе крестьяне.

«Вѣчная память»—тихо, и странно заплѣлъ хоръ.

«Вѣчная память!»—подхватили внизу, въ огромной толпѣ, стиснувшей платформу.

И подняли надъ людскою толпой его останки, и понесли по широкой дорогѣ.

Дорога шла въ видѣ просѣка, среди березоваго и ольховаго лѣса, который, подернутый легкимъ инеемъ, въ этотъ ранній часъ утра казался такимъ тихимъ и чарующе красивымъ.

Четыре версты, отдѣляющія станцію отъ яснополянской усадьбы, шли долго, часа полтора.

Толпа длинной лентой растянулась вдоль дороги.

Впереди везли вѣнки на деревенскихъ телѣгахъ, запряженныхъ маленькими мужицкими лошадами.

У телѣги шелъ крестьянинъ, большой, съ рыжей бородой, въ рыжемъ полушубкѣ и въ бѣлыхъ валеныхъ сапогахъ, шелъ спокойно, съ такимъ видомъ, какъ-будто онъ везъ не погребальные вѣнки, а возъ съ хворостомъ изъ лѣса.

А тамъ ѣхали другія телѣги съ ельникомъ.

Студентъ и старуха-баба сидѣли на телѣгѣ и методично усыпали путь ельникомъ.

И, вообще, странное, совершенно необычайное зрѣлище представляла эта толпа, гдѣ въ общемъ горѣ соединились оба полюса русской жизни: городская интеллигенція и доподлинная темная крестьянская масса.

А по пятамъ этой толпы, шпалерами вытянувшись по обѣимъ сторонамъ дороги, слѣдовали конные стражники...

Велика ли была эта толпа?

Мы уже говорили—тысячъ пять.

Но, вѣдь, это была не случайная толпа.

Это—не случайные прохожіе, примкнувшіе къ погребальной процессіи, это и не люди, вышедшіе нарочно на улицу, чтобы принять участіе въ похоронномъ шествіи.

Это—люди, прибывшіе за сотни верстъ, люди, обрѣкшіе себя на извѣстнаго рода лишенія, на безсонную ночь въ биткомъ набитыхъ вагонахъ, на потерю цѣлыхъ сутокъ, люди, оставившіе свои обычные дѣла и привычныя удобства жизни.

Только ради близкаго, родного готовы человѣкъ принести эту жертву, а тутъ тысячи сошлись ради того, кто всѣмъ былъ такъ близокъ и дорогъ.

Тысячи сошлись, а десятки тысячъ, уже рѣшившихъ явиться сюда, не могли исполнить своего желанія, не говоря уже о той огромной массѣ людей, которую задержали дома дѣла, служебныя обязанности и дальность разстоянія.

И мысленно эту толпу, идущую за гробомъ, можно было увеличить въ десятки и сотни разъ.

Вотъ подошли къ усадьбѣ, вотъ и ворота Ясной Поляны.

Впередъ въ ворота прошли крестьяне съ полотнищемъ, о ко-

торомъ рѣчь шла выше, и двое другихъ крестьянъ съ небольшимъ простымъ вѣнкомъ.

Это были маленькіе, корявые мужички, въ рваныхъ полушубкахъ, съ ситцевыми платочками, которыми они повязали головы, чтобы не простудиться.

Фотографы и кинематографисты пользуются удобнымъ моментомъ, чтобы запечатлѣть эти типичныя, характерныя фигуры.

И пойдутъ онѣ гулять по бѣлу-свѣту, показываясь на экранахъ безчисленныхъ электро-театровъ.

Пронесли вѣнки въ ворота усадьбы, а тамъ внесли и гробъ.

Только недавно, всего нѣсколько дней, онъ «бѣжалъ» отсюда.

Его вернули въ родную усадьбу...

Вотъ и яснополянскій домъ, въ который вернулся его хозяинъ.

Гробъ поставили въ комнатѣ, выходящей на каменную террасу.

Началось прощаніе съ покойникомъ.

Длинной вереницей потянулись люди, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на усопшаго, послѣдній разъ поклониться ему до земли.

И видѣли восковое лицо съ величественнымъ обнаженнымъ лбомъ и навѣки смеженными очами.

И тихо шли мимо...

Потомъ шли на могилу.

Далеко за усадебной оградой, въ лѣсу, у большой ложбины, возлѣ самой дороги, среди кучи старыхъ березъ, зіяла свѣжевырытая яма.

У ямы стоялъ молодой парень, беззаботно курилъ «цыгарку» и привычнымъ движеніемъ сплевывалъ въ сторону.

Могила ждала того, кто назывался Львомъ Толстымъ.

(«Русское Слово»).

Корреспондентъ «Русскихъ Вѣдомостей» рассказываетъ:—Траурный поѣздъ прибылъ въ 8 часовъ 5 мин. утра. Публика какъ одинъ человѣкъ обнажила головы, заплѣла «Вѣчную память». Софью Андреевну вывели изъ вагона подъ руки. Около траурнаго вагона она встрѣтилась со своей сестрой Татьяной Андреевной Кузьминской, расцѣловалась съ нею, тихо заплакала. Изъ вагона прахъ покойнаго вынесли на рукахъ его сыновья. Печальную

процессію открывали пять подводъ съ вѣнками, вслѣдъ за которыми крестьяне несли транспарантъ съ надписью «Левъ Николаевичъ память о твоёмъ добрѣ не умереть среди насъ, осиротѣвшихъ крестьянъ Ясной Поляны». Съ вокзала, дорога дѣлается спускъ внизъ. На днѣ лощины протекаетъ ручеекъ, черезъ который проложенъ узенькій деревянный мостикъ. Благодаря этому движеніе процессіи замедлилось. Часть публики разошлась по разнымъ тропинкамъ. Образовалось широкое волнующееся человѣческое море. На каждомъ почти возвышеніи, а зачастую на деревьяхъ размѣстилась масса фотографовъ, по обѣимъ сторонамъ дороги на разстояніи 20—30 шаговъ одинъ отъ другого разставлены были конные стражники съ винтовками.

Весь 4хверстный путь крестьяне смѣняясь несли гробъ. Въ два послѣднихъ дня съ громадной яркостью сказалась ихъ любовь къ Толстому,—во всемъ, въ каждой мелочи. Наканунѣ, вечеромъ, узнали они, что не стало его, и соплились къ дому, со слезами выслушали вѣсть. Всю ночь въ деревнѣ всѣ избы были освѣщены. «Какъ подъ Свѣтлое Воскресенье»,—сказалъ одинъ изъ нихъ. Они заявили дочери, что сами зароятъ могилу, сами донесутъ гробъ, все сдѣлаютъ для Льва Николаевича. Когда имъ сказали, что лучше деньги, которыя они собрали между собой на вѣнокъ, обратить на школу или другое дѣло, они отвѣтили, что это—своимъ чередомъ, но хотятъ Льву Николаевичу и вѣнокъ. Весь путь они посыпали ельникомъ, работали надъ этимъ нѣсколько ночныхъ часовъ.

Похоронная процессія медленно съ пѣніемъ «Вѣчная память» спускается въ ложбину. Далеко впереди на простыхъ крестьянскихъ телѣгахъ вѣнки. За ними—бѣлый транспарантъ, который несутъ яснополянскіе крестьяне, потомъ хоръ изъ студентовъ, далѣе многочисленныя депутаціи, опять студенты разныхъ учебныхъ заведеній, курсистки, снова депутаціи. Гробъ несутъ крестьяне, а передъ гробомъ вѣнки. Гробъ окружаетъ густая толпа. Тутъ также хоръ поетъ «Вѣчную память»,—единственное, что пѣли въ этотъ день. Сзади гроба идетъ семья Толстыхъ, близкіе, друзья и знакомые; шествіе замыкаетъ отрядъ конныхъ стражниковъ.

Чѣмъ дальше двигается похоронная процессія, тѣмъ больше шествіе растягивается. Передніе ряды идущихъ въ процессіи уже поднялись въ гору и перевалили ее, а конецъ процессіи еще около станціи. На пути, въ сторонѣ отъ дороги, на возвышеніяхъ распо-

ложились многочисленные фотографы, обыкновенные и кинематографические, со своими аппаратами. Въ лѣсу, который прорѣзываетъ дорога, идущая отъ станціи къ Ясной Полянѣ, на деревья тамъ и сямъ вскарабкались зрители, крестьяне изъ окрестныхъ деревень. Мѣстность холмистая; процессія, то поднимаясь на возвышенность, то спускаясь, медленно движется впередъ. Временами головные ряды останавливаются, чтобы не очень удалиться отъ главной массы процессіи.

Вотъ вдали въ туманѣ на возвышеніи показались пока неясныя очертанія селенія.

— Ясная Поляна!—пронеслось въ толпѣ.

Въ эту даль устремились всѣ взоры. Понемногу очертанія стали обрисовываться отчетливѣе. Шестіе стало приближаться къ деревнѣ и къ усадьбѣ Толстыхъ, расположенной рядомъ съ ней. Начался паркъ. Часть публики устремила въ сторону черезъ поле къ виднѣвшемуся вдали лѣсу. «Тамъ—мѣсто погребенія, которое выбралъ себѣ самъ покойный»,—заговорили въ толпѣ. Съ большой дороги это мѣсто не видно, оно за лѣсомъ.

Около одиннадцати часовъ процессія приблизилась къ вѣзду въ Ясную Поляну, гдѣ сопровождавшимъ процессію была передана просьба семьи покойнаго обождать съ полчаса дать ей возможность въ семейномъ совѣтѣ обсудить вопросъ о вскрытіи гроба. Самый же гробъ былъ внесенъ въ домъ и помѣщенъ въ нижнемъ этажѣ дома, въ кабинетѣ его покойнаго отца. Это—историческая комната». Здѣсь, по словамъ семейныхъ, Л. Н. рѣшилъ свой послѣдній «уходъ». Сюда онъ теперь вернулся...

Началось прощаніе съ тѣломъ покойнаго. Публика впускалась въ домъ. Простившіеся тотчасъ выходили, чтобы дать мѣсто другимъ. Привезенными вѣнками была убрана круглая терраса, прилегающая къ нижнему этажу дома. Это—та герраса, на которой часто проводилъ время Л. Н. въ кругу своей семьи. Часть вѣнковъ была сложена на площадкѣ около дома, часть прикрѣплена къ деревьямъ парка. Толпы народа стоятъ около дома, пока идетъ прощаніе съ тѣломъ. Часть публики двинулась къ мѣсту, гдѣ приготовлена могила.

Это мѣсто—въ полуверстѣ отъ усадьбы. Дорога туда идетъ черезъ фруктовый садъ, потомъ выходитъ въ поле, огибаетъ паркъ и идетъ вдоль стараго березоваго лѣса. Съ одной стороны этотъ старый лѣсъ, съ другой—молодая поросль. Усадьба позади. Молодая поросль покрываетъ склонъ возвышенности и уxo-

дить внизъ, въ ложбину. Вдали за склономъ виднѣются поле и лѣсъ. Въ разстояніи полуверсты на краю дороги, на обрывѣ, между старымъ лѣсомъ и молодой порослью высятся на небольшомъ пригоркѣ расположенныя полукружіемъ старыя липы. Среди этихъ липъ вырыта могила, избранная самимъ великимъ старцемъ мѣстомъ его послѣдняго успокоенія. Угрюмо и сыро сейчасъ тутъ. Старый лѣсъ обнажилъ свои мшистыя склоненныя къ землѣ сѣдныя вѣтви. Весной и лѣтомъ тутъ зашумитъ зеленая листва. Тихо будетъ шептать старый лѣсъ и осѣнять своими вѣтвями могилу великаго старца.

Съ печалью въ сердцѣ, въ безмолвіи стоятъ пришедшіе около свѣжевырытой могилы. Кругомъ группы крестьянъ и крестьянокъ. Нѣкоторые плачутъ.

— Жалко, графа, не обидчикъ, утѣшный былъ, много сдѣлалъ для насъ,—слышится тихія жалобныя слова въ группѣ крестьянъ.

— Землю намъ продалъ и въ аренду отдалъ землю, а за аренду не бралъ,—говоритъ тихимъ голосомъ одинъ изъ стоящихъ около могилы крестьянъ.—Меня училъ грамотѣ и отца моего училъ. Вчера, какъ подъ свѣтлый праздникъ, вся деревня наша не спала. Всю ночь горѣли огни. Купили мы вѣнокъ. Предлагали батюшкѣ подписаться, а онъ отказалъ: его не по закону хоронять, вишь... А мы не такъ думаемъ...

Крестьянинъ приумолкъ, а потомъ опять заговорилъ:

— Ушелъ онъ отсюда. Непріятности вышли. Онъ просилъ графиню въ память о немъ землю намъ отказать, а она согласна не была. Вотъ онъ отъ несправедливости и ушелъ. Изъ-за черкесовъ у нихъ также ссора была. Очень черкесы-то обижали насъ, а графъ любилъ и защищалъ насъ... Въ другой группѣ стоялъ старый дворовый Толстыхъ, сверстникъ Л. Н. По его старческому лицу катились слезы.

— Изба-то моя на барской землѣ построена,—тихо сквозь слезы шамкаетъ старичокъ.—Левъ Николаевичъ на это разрѣшеніе далъ. Спрашиваю я Льва-то Николаевича, бѣды бы потомъ не было. А онъ говоритъ: Если бы я тебѣ далъ кафтанъ, кто же бы сталъ отнимать его? Все заботился онъ, чтобы умиротвореніе было, чтобы въ ладу все жили. Богомольный онъ раньше былъ. Къ заутрени ходилъ, а потомъ пересталъ ходить, но насъ не возилъ. Идите,—говоритъ,—Богу молиться. И повару говорилъ: Иди, не бѣда, обѣдъ-то и опосле изготвишь.

И долго гуторить старикъ, вспоминаетъ о жизни Л. Н. на Кавказѣ, о голодныхъ годахъ и помощи, какую оказывалъ Л. Н.

Окружающіе въ безмолвіи слушаютъ у разверстой могилы.

Долго длится прощаніе, хотя стараются дефилировать передъ гробъ возможно скорѣе. Гробъ поставленъ въ той комнатѣ, рядомъ съ библіотекой, которая когда-то служила Льву Николаевичу кабинетомъ. Здѣсь были написаны «Война и миръ» и «Анна Каренина»... Гробъ поставленъ такъ, что почившій обращенъ къ входящимъ лицомъ. Какъ измѣнилось это лицо за два дня. Оно стало другое, измѣнилось выраженіе, обострились черты. Говорятъ, значительно повреждено лицо при снятіи двухъ масокъ. У гроба стоитъ все время одинъ изъ друзей Льва Николаевича, какъ-то безнадежно положивъ руки на край гроба.

Въ 2 час. 20 мин. дефилированіе кончилось. Сыновья и ближайшіе друзья подняли гробъ. На площадкѣ передъ домомъ обнажили головы, запѣли «Вѣчную память». Когда гробъ показался въ дверяхъ, всѣ опустили на колѣни. Сыновья передали гробъ крестьянамъ, студентамъ, и нѣсколько тысячъ человѣкъ двинулись, окружая гробъ, къ такъ называемому Графскому Заказнику, къ приготовленной могилѣ.

Съ одной ея стороны идетъ проселокъ, съ другой обѣгаетъ кнзизу поросшій кустарникомъ бокъ оврага, за которымъ перелѣсокъ и поля тянутся до рѣчки Воронки. Могилу приготовили вчера. Рыть ее оказалось очень трудно, потому что приходилось рубить корни, и, начавъ днемъ, яснополянскіе крестьяне закончили эту печальную работу уже при свѣтѣ факеловъ.

До могилы отъ дома—полверсты. На исходѣ третьяго часа гробъ донесли до когда-то указаннаго Львомъ Николаевичемъ мѣста. Несли все время подъ звуки «Вѣчная память». Замолкалъ одинъ хоръ,—начиналъ другой. Когда гробъ былъ у могилы, все затихло. Стало тихо до страннаго. По толпѣ пробѣжалъ шопотъ: «На колѣни»,—и всѣ опустили на землю...

Гробъ тихо спустили въ могилу. Въ 2 часа 50 минутъ она приняла прахъ великаго человѣка. Опять—«Вѣчная память» и опять тишина. Упалъ первый комъ земли, ударилъ о крышку гроба. И опять всѣ опустили на колѣни. Такъ въ торжественной тишинѣ и безмолвіи растались мы съ прахомъ Толстого... Скоро края могилы сравнялись съ землей, стали расти холмъ могильный... Въ третій разъ опустили всѣ на колѣни, стояли особенно долго...

Общимъ желаніемъ было, чтобы не раздалось у этой могилы рѣчен. И ихъ не было,—почти не было. Два—три слова были сказаны однимъ толстовцемъ, о томъ, что «умеръ великій Левъ, но живъ великій Левъ, живы имъ проповѣданные идеалы кротости и всемірнаго христіанства». Да еще Л. А. Сулержицкій напомнилъ, почему именно здѣсь, на этомъ мѣстѣ, схоронили Льва Николаевича.

Около 4 час. все было кончено. Семья ушла; стали расходиться и остальные.

Изъ возложенныхъ на могилу Льва Николаевича вѣнковъ въ особенности обращаетъ вниманіе вѣнокъ отъ крестьянъ селъца Овсянникова и села Рудакова (общій) съ надписью «Незабвенному заступнику и совѣтнику въ нашихъ нуждахъ, великому учителю Льву Николаевичу Толстому».

(«Русскія Вѣд.»).

Другой корреспондентъ той же газеты рассказываетъ:

— Тянулись ночью длинные поѣзда и останавливались у Засѣки. Появлялись сотни, потомъ тысячи людей и ходили взадъ и впередъ по шпаламъ, бродили по небольшой переполненной залѣ или скрывались отъ холода въ товарномъ сараѣ. Раздавались свистки паровозовъ, слышались отрывочныя слова недоговоренныхъ мыслей, и было что-то смущающее и гнетущее въ этой ночи, полной ожиданій. И тянулась эта ночь безъ конца.

Стало свѣтать къ семи, и затѣмъ разсвѣло почти сразу. Слово день не хотѣлъ настать и показать Ясной Полянѣ прахъ ея великаго старца. И все-таки насталъ съ роковой необходимостью сѣрый день поздней осени, холодный и угрюмый, печальный, какъ то, что свершалось.

Снова приходили поѣзда и появлялись новые люди, выстраивались, укладывали вѣнки на телѣги, тѣснились и напряженно смотрѣли къ югу, ожидая поѣзда изъ Астапова. Онъ пришелъ около восьми и вскорѣ среди процессіи надъ головами колыхался деревянный гробъ. Медленно, на каждомъ почти шагу останавливаясь, процессія шла по шоссеиной дорогѣ къ Ясной Полянѣ.

Земля примерзла и слегка покрыта снѣгомъ. Она того-же мутно-бѣловатаго цвѣта, какъ небо, какъ бѣлѣющія сквозь легкій утренній туманъ березы. Кто не знаетъ этой дороги? Этой бѣдной, особенно теперь кажущейся бѣдной природы, жидкихъ оголен-

ныхъ лѣсковъ, мѣстами перемежающихся съ слью, длинныхъ овраговъ, холмовъ, съ которыхъ открывается далекій, мягкихъ очертаній. горизонтъ? Дорога тяжела, люди двигаются съ трудомъ, имъ нужно почти 3 часа, чтобы добраться до усадьбы. Я пошелъ впередъ, въ первый разъ пошелъ къ Ясной Полянѣ уже тогда, когда она опустѣла.

Дорога сперва идетъ довольно круто вверхъ, и перевалъ находится приблизительно въ 2-хъ верстахъ отъ Засѣки. Отсюда только открывается видъ на паркъ, среди деревьевъ котораго зеленѣетъ крыша усадьбы, и нѣсколько дальше на деревню ясно-полянскихъ крестьянъ. Въ паркъ можно пройти теперь съ любой стороны, и небольшія группы перебираются черезъ оврагъ, идутъ фруктовымъ садомъ, съ любопытствомъ или съ благоговѣніемъ осматриваются во всѣ стороны. Здѣсь еще тихо, здѣсь не прошла еще толпа, здѣсь можно прислушаться къ вѣтру и шелесту листьевъ. Здѣсь, на этой самой дорожкѣ, на которой я стою, была нога Толстого. Не здѣсь ли онъ думалъ и возносился мыслью до высотъ безгрѣшнаго человѣчества далекаго будущаго? Или онъ здѣсь страдалъ, страдалъ тѣми муками, отъ которыхъ сжимается сердце и кесаря, и раба и отъ которыхъ не избавленъ и гений-мыслитель? То, что сильнѣе всего волнуетъ душу человѣческую, проходитъ какъ бы внѣ рамокъ исторіи. Здѣсь безразличны соціальныя институты и экономическія отношенія, несущественны завоеванія науки и искусства, здѣсь, гдѣ затрагиваются наиболѣе сильно звучація струны души, всѣ равны и въ исторіи, и въ государствѣ. И не то ли умиляетъ всего сильнѣе въ послѣдней трагедіи Толстого, что онъ мыслилъ какъ сверхчеловѣкъ и страдалъ самыми человѣческими изъ страданій?

Солнце поднимается выше, едва проглядывая изъ-за облаковъ. Тумана тоже нѣтъ. Въ 11-мъ часу въ графскомъ паркѣ становится оживленнѣе. Въ двухъ старыхъ аллеяхъ, примыкающихъ къ господскому дому, виднѣются студенческія фуражки, во внутреннихъ покояхъ готовятся къ послѣднему приему хозяина. Процессія подходить около 11-ти часовъ.

Итакъ, онъ возвращается въ свою Ясную Поляну. Онъ хотѣлъ тишины и уединенія и ушелъ изъ нея. Напрасно. Онъ найдетъ ихъ только здѣсь: въ могилѣ подъ едва возвышающимся курганомъ, у широкой проѣзжей дороги, у длиннаго поросшаго оврага, откуда глазъ видитъ далеко вокругъ ту русскую землю, ради которой прежде всего онъ жилъ...

Гробъ вносятъ въ домъ и ставятъ въ той комнатѣ, въ которой Толстой написалъ свои первые большіе труды, гдѣ онъ пережилъ тотъ огромный, мало кѣмъ испытываемый душевный переворотъ, который превратилъ писателя-художника въ философа-моралиста. Гробъ открытъ. Прощается семья, подходятъ друзья, можетъ войти всякій, кто пришелъ сюда почтить память его.

Я не видалъ Толстого раньше. Можетъ-быть, я долженъ сказать и теперь, что не видалъ его. Во всякомъ случаѣ въ гробу онъ не былъ тѣмъ Толстымъ, котораго рисуютъ безчисленныя картины и фотографіи. На нихъ въ немъ много было привлекательнаго. Но въ гробу онъ былъ только великъ. Страшно блѣднѣлъ, съ чистѣйшей бѣлизны бородой, онъ не похожъ былъ уже на человѣка. Здѣсь было нѣчто большее. Здѣсь прахъ сильнѣе отражалъ безсмертность его души, чѣмъ, можетъ-быть, прежде ее отражало его смертное тѣло. Онъ былъ красивъ, спокоенъ, просвѣтленъ, внѣ земныхъ страданій. Въ гробу только онъ могъ сбросить съ себя все человѣческое, и было нѣчто невыразимо высокое въ его лицѣ.

Безсмертенъ! И именемъ, конечно, своимъ, и своими трудами, по не только ими. Пусть имя его забудутъ и пусть исчезнутъ труды. И все жъ таки въ исторіи человѣчества онъ не умретъ. Онъ какъ пророкъ смотрѣлъ вдаль такъ далеко, что за его мыслью не могли услѣдить современники. И, куда бы люди ни шли, что бы ни завоевали ихъ разумъ и воля, среди благъ необозримой культуры, утонченнѣйшаго искусства и высшаго знанія они начнутъ искать счастья тамъ, гдѣ искалъ его Толстой.

Я вышелъ изъ дома. Длинной цѣпью стояли въ паркѣ люди, хотѣвшіе проститься съ Толстымъ. Было холодно, но ждали часами. Нѣсколько тысячъ человѣкъ, пріѣхавшихъ изъ Москвы, хотѣли всѣ поклониться праху его. Что любили они въ Толстомъ? Передъ чѣмъ преклонялись въ немъ? Не были ли они,—я не боюсь сказать это,—душой чужды ему?

Медленно сокращается цѣпь, многолюдно и шумно въ яснополянскомъ паркѣ. Тихія аллеи, по которымъ ходилъ одинокій мыслитель, запружены народомъ. Передъ воротами усадьбы—извозчики и кареты. Ясная Поляна сегодня, что дѣлать, принадлежитъ толпѣ. Я не остаюсь ждать времени, когда тѣло Толстого опустятъ въ могилу; въ Ясной Полянѣ становится слишкомъ тяжело.

Та же дорога, холодная земля, холодное небо. Но теперь

еще яснѣе, еще безспориѣе сознаніе, что его уже нѣтъ. И снова непреодолимый вопросъ: кто провожалъ его и кто прощался съ нимъ?

Десятки лѣтъ Толстой жилъ новой душевной жизнью. Онъ проповѣдывалъ со всею силой своего генія то, что съ мученіями родилось и окрѣпло въ его душѣ. Но многіе изъ тѣхъ, которые прощались съ нимъ сегодня, этого Толстого не принимали. Они не лицемерили, о, нѣтъ! Вѣдь они превозносили его, какъ художника. Что дѣлать, если они не признавали въ немъ философа!

Или они предчувствовали, быть-можетъ, смутно грядущую силу его идей? И почти безотчетно кланялись сегодня праху человѣка, предъ мыслью котораго преклонятся будущія поколѣнія?

(«Русск. Вѣд.»).

Мѣсто погребенія Л. Н. Толстого.

Л. Н. Толстой по собственному желанію погребенъ подъ курганомъ въ Ясной Полянѣ. Что это за курганъ? Извѣстный біографъ Л. Н. Толстого, П. П. Бирюковъ, въ своей книгѣ о жизни писателя приводитъ нѣсколько отрывковъ изъ дѣтскихъ воспоминаній Л. Н. Толстого, гдѣ разъясняется смыслъ и значеніе «кургана», который былъ связанъ съ таинственной «Фанфароновой горой».

— Фанфаронова гора,—говоритъ Л. Н.,—это одно изъ самыхъ далекихъ и милыхъ и важныхъ воспоминаній. Старшій братъ Николаенька былъ на 6 лѣтъ старше меня. Ему было, стало быть, 10—11, когда мнѣ было 4 или 5, именно, когда онъ водилъ насъ на Фанфаронову гору... Онъ былъ удивительный мальчикъ и потомъ удивительный человѣкъ... Такъ вотъ онъ то, когда намъ съ братьями было мнѣ 5, Митенькѣ 6, Сережѣ 7 лѣтъ, объявилъ намъ, что у него есть тайна, посредствомъ которой, когда она откроется, всѣ люди сдѣлаются счастливыми, не будетъ ни болѣзни, никакихъ непріятностей, никто ни на кого не будетъ сердиться, и всѣ будутъ любить другъ друга, всѣ сдѣлаются муравейными братьями (вѣроятно, это были Моравскіе братья, о которыхъ онъ слышалъ или читалъ, но на нашемъ языкѣ это были муравейные братья). И я помню, что слово «муравейные» осо-

бенно правилось, напоминая муравьевъ въ кочкѣ. Мы даже устроили игру въ муравейные братья, которая состояла въ томъ, что садились подь стулья, загораживая ихъ ящиками, завѣшивали платками и сидѣли тамъ въ темнотѣ, прижимаясь другъ къ другу. Я, помню, испытывалъ особенное чувство любви и умиленія и очень любилъ эту игру.

«Муравейные братья» были открыты намъ, но главная тайна о томъ, какъ сдѣлать, чтобы всѣ люди не знали никакихъ несчастій, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, какъ онъ намъ говорилъ, написана на зеленой палочкѣ и палочка эта зарыта у дороги, на краю стараго Заказа, въ томъ мѣстѣ, въ которомъ я, такъ какъ надо же гдѣ-нибудь зарыть мой трупъ, просилъ бы въ память Николеньки закопать меня. Кромѣ этой палочки была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, онъ говорилъ, можетъ ввести насъ, если только мы исполнимъ всѣ положенныя для того условія... Тотъ, кто исполнить эти условія и еще другія, болѣе трудныя, которыя онъ откроетъ послѣ того, одно желаніе, какое-бы то ни было, будетъ исполнено. Мы должны были сказать наши желанія. Сережа пожелалъ умѣть лѣпить лошадей и куръ изъ воска; Митенька пожелалъ умѣть рисовать всякія вещи, какъ живописецъ, въ большомъ видѣ. Я же ничего не могъ придумать, кромѣ того, чтобы умѣть рисовать въ маломъ видѣ. Все это, какъ это бываетъ у дѣтей, очень скоро забылось, и никто не вошелъ на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, съ которой Николенька посвящалъ насъ въ эти тайны, и наше уваженіе и гретъ передъ тѣми удивительными вещами, которыя намъ открывалось. Въ особенности же оставило во мнѣ сильное впечатлѣніе муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывающаяся съ нимъ и долженствующая осчастливить всѣхъ людей...

Идеаль муравейныхъ братьевъ, льнущихъ любовно другъ къ другу, только не подь двумя креслами, завѣшанными платками, а подь всѣмъ небеснымъ сводомъ всѣхъ людей міра, остался для меня тотъ же. И какъ я тогда вѣрилъ, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло въ людяхъ и дать имъ великое благо, такъ я вѣрю и теперь, что есть эта истина и что будетъ она открыта людямъ и дастъ имъ то, что она обѣщаетъ».

Очевидно, мѣсто это съ теченіемъ времени было забыто. Доказательствомъ этого могутъ служить долгія поиски «кургана», когда понадобилось готовить могилу великому писателю.
(«Утро Россіи»).

Надъ свѣжей могилой.

Могильный холмъ отдѣлили отъ этого міра прахъ великаго человѣка. Голосъ глашатая истины и апостола любви умолкъ. Содрогнулась родная страна, содрогнулся весь культурный міръ при страшной вѣсти, что отошелъ отъ міра тотъ, кто составлялъ его гордость и славу, умеръ тотъ, кто при жизни сталъ бессмертнымъ. Воля покойнаго не устраивать пышныхъ похоронъ, не возлагать вѣнковъ, не чтить тѣмъ наружнымъ способомъ, которыми мы привыкли чтить усопшихъ,—священна. И исходъ той человѣческой необходимости поклониться усопшему надо, очевидно, искать въ другой области. Не около его погибшаго тѣла и разрушающейся матеріи, а въ сферѣ его бессмертнаго духа. Великій учитель въ долгую жизнь воспиталъ рядъ поколѣній, и если среди его поклонниковъ и почитателей мало непосредственныхъ учениковъ, то много носящихъ въ себѣ отзвуки и плоды его идей. И это понятно. Мощный духъ великаго слишкомъ опередилъ своихъ современниковъ. Пройдутъ цѣлые ряды поколѣній, десятки, можетъ быть, сотни ихъ смѣнятъ одни другихъ, прежде чѣмъ получить осуществленіе на землѣ его царство любви и мира.

И не намъ, его современникамъ, принять на свои слабыя плечи бремя осуществленія не только всѣхъ, но даже многихъ изъ его идей. Но если непосильно взять на себя разрѣшеніе всей задачи, это не основаніе, чтобы уклоняться хотя бы отъ первыхъ шаговъ по этому пути.

Мы безсильны уничтожить все зло міра,—попытаемся его сократить. Попытаемся добиться хотя бы того, что уже нашло откликъ во многихъ сердцахъ. Попытаемся уничтожить во имя мнимаго блага убійство «одного» человѣка всесильными и организованными «многими». Почтимъ имя Толстого уничтоженіемъ смертной казни, противъ которой великій мыслитель возсталъ со всею своею силою и проникновенностью. Вспомните его «Не могу молчать».

Откликнитесь всѣ тѣ, кому дорого наслѣдіе гуманизма Тол-

стого. Покажите, что «не токмо за страхъ, но и за совѣсть» вы готовы чтить того, кого именуете какъ «гордость Россіи и славу міра». Отмѣна смертной казни—вотъ первый шагъ по пути почитенія безсмертнаго, мощнаго духа покойнаго учителя.

*А. Ксюбакинъ.
(«Речь»).*

Священный курганъ.

Глухая деревенька среди необъятныхъ равнинъ средней Россіи.

Въ сторонѣ отъ желѣзной дороги, въ сторонѣ отъ телеграфа и телефона, этотъ тихій, не обозначенный на картѣ уголокъ получилъ мировую извѣстность, которой могутъ позавидовать Лондонъ и Парижъ.

Здѣсь родился, здѣсь жилъ и здѣсь сегодня похороненъ Левъ Толстой.

Осенняя ночь.

Черные силуэты крестьянскихъ избъ на темной деревенской улицѣ, но въ эту памятную ночь не гаснутъ въ окнахъ огни и точно чьи-то встревоженные, сверкающія очи устремили воспаленный взоръ во тьму ночную.

Изъ глухой и темной дали приближается гробъ съ останками того, кто смѣлѣе всѣхъ смертныхъ разгадалъ тайну жизни; онъ былъ чело вѣ комъ и воплотилъ всю полноту и сложность человѣческихъ чувствъ, всю многогранность человѣческой души, всю доступную чело вѣ ку красоту и всю возможную на землѣ правду..

По печальной осенней дорогѣ вдоль пустынныхъ полей и оголенныхъ черныхъ деревьевъ тянется шествіе.

Въ холодномъ воздухѣ дрожать торжественно-печальные звуки и въ густой толпѣ крестьянъ и студентовъ колышется гробъ. И страннымъ кажется, и не вѣрится, что въ этомъ маленькомъ гробу покоится тѣло великана, что эти обыкновенные люди могутъ поднять останки могучаго богатыря земли русской.

Двѣ каменные башенки, извѣстныя всему міру, а тамъ этотъ историческій ясно-полянский домъ, такой скромный, какой обыкновенный и такой особенный, единственный въ мірѣ.

И невысокій холмъ, курганъ, подъ которымъ ляжетъ послѣдній русский богатырь...

Здѣсь, нѣкогда, въ лучезарные дни далекаго, невозвратнаго дѣтства русскій мальчикъ закопалъ зеленую палочку въ пивной и прекрасной вѣрѣ, что настанетъ нѣкогда день и эта засохшая вѣтвь вновь зазеленѣетъ и свершится великое чудо: расцвѣтутъ на землѣ добро и красота и прекрасна и радостна станетъ жизнь человѣческая.

И Толстой нѣкогда въ общеніи съ богиней красоты позналъ чары прекраснаго, а вернувшись изъ лазурнаго грота, ужаснулся потомъ, взглянувъ на землю, обезображенную нищетой, на людей, обрызганныхъ грязью и кровью.

И чувство глубокаго, мучительнаго покаянія охватило могучую душу, покаянія за то, что ему такъ много дано, что такъ полно упивалось красотой творчества ея жаждавшее сердце, въ то время, какъ люди превратили свою жизнь въ такое мучительное безобразіе и корчатся въ кошмарахъ ненависти, злобы и непониманія.

И величайшее, самое гениальное сердце нашихъ дней глубоко вѣрило, что близится день великаго прощенія, что «зеленая палочка» расцвѣтетъ и настанетъ на землѣ свѣтлое лучезарное царство любви, добра и красоты.

И кто знаетъ, когда исполнятся времена и сроки, возрастутъ и расцвѣтутъ сѣмена любви, посѣянные тѣмъ, чья великая, святая тревога нашла послѣднее успокоеніе подъ священнымъ яснополянскимъ курганомъ среди безбрежнаго океана крестьянской Руси...

Миръ живо ощутилъ громадность своей потери.

Пока былъ живъ Толстой, миръ зналъ, что гдѣ-то, въ глубинѣ русскихъ равнинъ, есть человѣкъ, наиболѣе одаренный изъ всѣхъ людей, есть пророкъ и поэтъ Божіей милостью этотъ человѣкъ неподкупенъ.

Миръ зналъ, что этотъ человѣкъ достигъ всего, чего только можно пожелать на землѣ, что Левъ Толстой самый независимый, самый свободный человѣкъ на землѣ и что нѣтъ той силы ни въ церкви, ни въ государствѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, которая могла бы уклонить его мысль и чувство отъ того, что онъ считаетъ добромъ и правдой.

Ошибаться могла его мысль, но безошибочно судило его сердце; и это гениальное сердце сдѣлало его совѣстью міра.

Поэзія его жизни и правда его творчества сплелись въ дивной гармоніи, и послѣдній актъ его жизни, это отречение отъ

послѣднихъ и самыхъ могучихъ личныхъ привязанностей, этотъ ухоть въ невѣдомую даль и смерть въ дорогѣ, на случайномъ этапѣ послѣдняго пути—завершили чертами послѣдняго совершенства художественную поэму этой удивительной жизни.

И, можетъ быть, естественно, что даже предъ этой великой могилой не смолкла низость низменныхъ душъ.

Можетъ быть, и въ мірѣ моральныхъ цѣнностей, и въ мірѣ добра и красоты есть свой законъ постоянства энергіи и тамъ, гдѣ природа потратила такъ неизмѣримо много лучшихъ даровъ своихъ на одного Льва Толстого, неизбѣжны морально обездоленные Пуришкевичи и Меньшиковы.

И, можетъ быть, въ глубинѣ этихъ жалкихъ опустошенныхъ душъ таится сознаніе этой обездоленности и питаетъ ихъ мучительную и неизмѣнную злобу...

Такіе дары неба, какъ Толстой, требуютъ жертвъ искупительныхъ, такая высокая вершина обуславливаетъ рядомъ съ ней низину бездонную...

(«Рѣчь»).



В. Г. Короленко о смерти Л. Н. Толстого.

9-е ноября 1910 года.

I.

Теперь это уже совершившийся и скрѣпленный исторіей фактъ: къ официальной церкви Толстой не вернулся.

Писали въ газетахъ, будто П. А. Столыпинъ, глава свѣтскаго правительства, обращался къ правительству духовному, святѣйшему синоду, съ указаніями на крайнее неудобство этого историческаго факта: что бы ни писали о немъ гг. Дубровины (со стороны свѣтской) и Скворцовы (со стороны церковной), — чловѣкъ былъ «все-таки» и «какъ бы тамъ ни было» великій, несомнѣнная національная гордость. Міръ не желаетъ судить Толстого ни съ точки зрѣнія официального государства, ни съ точки зрѣнія официальной греко-россійской церкви. Міръ склоненъ, пожалуй, къ обратному; онъ готовъ оцѣнивать официальную Россію (свѣтскую и духовную) по ихъ отношеніямъ къ Толстому, Великій писатель сталъ чѣмъ-то въ родѣ моральной великой державы, которую, со многихъ точекъ зрѣнія, выгодно имѣть союзницей. И если такого союза нѣтъ въ дѣйствительности... Что жъ? Его стоило бы даже выдумать. Дипломатическіе международныя отношенія хорошо знаютъ такіе прецеденты.

Правду или неправду писали въ газетахъ, будто П. А. Столыпинъ сдѣлалъ свои ремонстраціи членамъ святѣйшаго синода, я, конечно, не знаю, но думаю, что онѣ были бы понятны. Съ точки зрѣнія благочинія и «благополучнаго обстоянія» гораздо лучше, чтобы предметы національной гордости вмѣщались въ признанныхъ формахъ «существующаго строя», вмѣсто того, чтобы торчать внѣ ихъ, показывая всему міру, что ростъ національнаго генія для этихъ формъ уже невмѣстимъ и неудобенъ. Итакъ нельзя ли это неудобство какъ-нибудь уладить, разъяснить и

упразднить въ глазахъ міра?... Ко всеобщему притомъ благополучію: и церкви, и государства, и осиротѣвшей семьи великаго писателя, и, наконецъ, его собственнаго праха, который только такимъ образомъ могъ бы удостоиться погребенія по чину, какъ останки «всѣхъ благонамѣренныхъ россійскихъ обывателей»...

Правда, для достиженія этого общаго благополучія Толстого пришлось бы нѣсколько, даже значительно, скомкать, обкорнать и изувѣчить... Сдѣлать его меньше ровно настолько, чтобы гиганта духа свести подъ среднюю мѣрку большинства «благонамѣренныхъ обывателей». Его неустанно пламенѣвшія исканія, работу его безпокойной мысли, все это трагическое пилигримство неугомонной великой души пришлось бы обратить въ глазахъ міра въ мелкую игру тщеславной и поверхностной мысли, въ «либеральную шалость», которую малодушно убираютъ передъ лицомъ смерти, какъ школьникъ прячетъ передъ инспекторомъ запрещенную книжку... Но что же дѣлать?... Пожалуй, даже лучше: въ лицѣ геніальнаго «искателя» въ такую поверхностную шалость обратилась бы и вся русская «свободная мысль», давно уже рвущаяся изъ тѣсныхъ оффиціальныхъ рамокъ...

Такъ, повидимому, рассуждала свѣтская власть, ожидая, по прежде бывшимъ примѣрамъ, что власть духовная склонится на эти дипломатическіе доводы.

Синодъ на этотъ разъ не склонился. И нельзя не признать, что у него были на то свои очень вѣскія основанія. Свѣтская держава стала на точку зрѣнія благочинія нѣсколько односторонняго, отчасти даже эгоистическаго, недостаточно взвѣсивъ интересы своего союзника. Ее слишкомъ ослѣпляла ближайшая задача даннаго полицейскаго момента. Предлагаемымъ способомъ можно бы, конечно, избѣжать первыхъ въ Россіи гражданскихъ похоронъ, лишенныхъ церковнаго обряда, но не лишенныхъ публичности и небывалой торжественности. Печальное торжество грозило стать все-таки торжествомъ національнымъ, а между тѣмъ въ немъ не оказывалось мѣста ни оффиціальной церкви, ни оффиціальному государству. Какъ? Развѣ въ Россіи стало уже возможно что-нибудь великое въ обще-національномъ смыслѣ внѣ государства и церкви, поглощавшихъ такъ долго самое понятіе о реальной націи, живой, самостоятельно растущей и сложной?...

Да, несомнѣнно, этого пріятнѣе было бы избѣжать. По духовная держава не могла не замѣтить, что роль, когорая ей

при этомъ отводится,—нѣсколько двусмысленная и, пожалуй, опасна. «Парижъ стоитъ обѣдни»,—сказало когда-то государство, въ лицѣ Генриха IV, и при этомъ на выразительномъ лицѣ умнаго наваррца навѣрное играла тонкая мефистофелевская улыбка. Онъ самъ былъ еретикъ и, конечно, хорошо понималъ, что за его афоризмомъ, по неизбежной ассоціаціи, возникаетъ вопросъ: «Да, но въ такомъ случаѣ... стоитъ ли обѣдня Парижа?»... Вѣру, настоящую, живую и искреннюю вѣру, въ какихъ бы формахъ она ни выражалась,—нельзя дѣлать орудіемъ не только узко-полицейскихъ, но даже и широко-государственныхъ утилитарныхъ цѣлей. Религіозныя цѣнности, размѣненные на мелкую монету для государственныхъ надобностей, утрачиваютъ внутреннее значеніе и много теряютъ на курсѣ. Нужно ли было отлучать Толстого отъ церкви, это, быть-можетъ,—вопросъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что онъ не сдѣлалъ ни шагу, чтобы опять къ церкви присоединиться... Чѣмъ же тогда мотивировать новое присоединеніе? И не явится ли оно актомъ простаго служебнаго усердія по указанію свѣтской власти? Но служебная вѣра—уже не вѣра. Сущность живаго процесса, въ которомъ она должна проявляться, есть, несомнѣнно, высшая свобода духа.

Не смѣю навязывать синоду именно эти мысли о сущности вѣры... Очень вѣроятно, что соображенія отцовъ официальной церкви были гораздо ученѣе и основывались на многихъ писаніяхъ. Мнѣ только хотѣлось бы думать, что и онѣ хоть у кого-нибудь, хоть въ какой-нибудь степени мелькали въ душѣ и вліяли на рѣшеніе вопроса. Какъ бы то ни было,—синодъ отказался по указкѣ главы свѣтскаго правительства сдѣлать видъ, будто онъ вѣритъ въ обращеніе Толстого...

Съ внѣшней стороны сдѣлать это удовольствіе свѣтской власти было, пожалуй, не трудно. Завоеваніе Парижа стоило обѣдни. Завоеваніе для официальной церкви великой тѣни гениальнаго писателя, на иной взглядъ, тоже, казалось бы, стоитъ нѣсколькихъ панихидъ, нѣсколькихъ хоругвей и церковнаго хора во время похоронъ. Затѣмъ,—было бы только разрѣшеніе,—масса простодушныхъ сельскихъ и городскихъ батюшекъ охотно и радостно стали бы отправлять панихиды по раскаявшемуся Толстомъ, котораго когда-то и сами въ юные годы читали съ душевнымъ волненіемъ и трепетомъ. Еще нѣсколько усилій «патріотической прессы», нѣсколько инструкцій господамъ губернаторамъ относительно прессы оппозиціонной,—и въ клубахъ кадилънаго

дыма могла бы встать легенда о раскаяніи... Толстой сталъ бы сразу меньше на половину своей жизни, на всю глубину и искренность своихъ самостоятельныхъ религіозныхъ исканій. Но... лучше хоть поменьше, да свой, покаявшійся и смиренный, чѣмъ величавый, но гордый и непримиримый...

И все-таки синодъ отказался. И едва ли этотъ отказъ можно признать даже и внѣшне-тактической ошибкой. Толстой геній и, какъ геній,—одинъ. Но все же и почва, на которой онъ выросъ, уже измѣнилась. Между прочимъ, исчезла возможность для всемогущей власти однимъ маніемъ руки водворять въ странѣ безгласность, заволакивать мглой цѣлыя стороны жизни. Если все-таки можно было бы создать «легенду обращенія», то поддерживать ее было бы очень трудно не только въ глазахъ остальнаго міра, но и въ глазахъ мало-культурнаго собственнаго народа. А тогда... настоящій обликъ геніальнаго писателя, можетъ-быть много заблуждавшагося при жизни, но искренно и глубоко искавшаго правды и донесшаго эти исканія до могилы—суровый и непреклонный въ своей искренности обликъ Толстого, какимъ его знаетъ весь міръ, всталъ бы все-таки надъ туманами оффиціальной легенды...

И тогда результатъ дипломатическаго приѣма вышелъ бы совершенно неожиданный: могло показаться, что это не Толстой присоединился къ оффиціальной Россіи свѣтской и духовной... А что, наоборотъ, оффиціальная Россія, свѣтская и духовная, смиренно пошла за колесницей, на вершинѣ которой величаво покоился прахъ великаго русскаго генія и свободнаго религіознаго мыслителя...

II.

На слѣдующій день.

Раннимъ утромъ 10-го ноября, задолго еще до поздняго осенняго разсвѣта, поѣздъ, въ которомъ я ѣхалъ, остановился у маленькой станціи передъ Тулой. Небо темно и мутно, тихо, безшумно и значительно передвигаются въ вышинѣ мгlistыя облака. Изъ темноты выдвигаются фигуры, усталые послѣ бессонныхъ ночей и волненій; это—паломники изъ Ясной Поляны. Они общаются; что похороны состоялись уже вчера, 9-го ноября. Торопились. Народу было множество, но поспѣли къ похоронамъ

почти только москвичи. Сначала отпускали экстренные специальные поезда, потом последовал отказ. Людской поток к великой могиле был таким образом прерван на половине, и все-таки за гробом, который несли на руках крестьяне и студенты, по широкой дороге между лесами исторической «Засеки» двигалась огромная толпа. Торопливость похорон объясняют требованием «светской власти», пожелавшей будто бы, чтобы соблазнительное зрелище длилось как можно меньше.

Но днем, на месте, в Ясной Поляне это объясняют иначе: поторопилась с похоронами семья по собственной инициативе, вконец,—исполняя предсмертную волю великого покойника. «Как можно проще и без обрядов»,—ответила, говорят, графиня С. А. Толстая на запрос администрации. И местная власть осталась нейтральной, корректно, по общим отзывам, наблюдая только за внешним порядком. Других инструкций свыше пока не последовало.

Однако у могилы люди близкие к Толстому говорят, будто там где-то, далеко, в Петербурге, на верхах светской и духовной политики дело долго не выяснялось. Дипломатические переговоры между державой светской и духовной об установлении общего отношения к третьей моральной державе, представленной великими останками русского гения, не приходили к определенным результатам. Правильно или неправильно, но семья будто бы считала возможным, что духовная держава уступить настояниям светской дипломатии, и воля покойного будет нарушена: великий прах будет «завоеван» для церкви при содействии государства. Отсюда будто бы—торопливость похорон.

Теперь история эта уже закончена: на «кургане», над овражком, под высокими дубами выросла небольшая могила, вся покрытая вянками. Весь день еще от Засеки, лесными тропами и по широкому тульскому шоссе, в одиночку и кучками подходят и подбзжают люди, собираясь у этой могилы. Временами кто-нибудь затягивает «вечную память», головы обнажаются, пафос звучит печально и просто, потом смолкает, и только шорох обнаженных ветвей присоединяется к такому же тихому шороху сдержанно-торжественных людских разговоров.

А по рельсам в разные стороны мчатся поезда, набитые людьми, и в широкий говор повседневной, будничной жизни струями врываются разговоры о Толстом, ушедшем навсегда

пзъ этого міра въ міръ безконечной тайны и вѣчныхъ вопросовъ... Разсказываютъ о томъ, что великій русскій писатель и превосходный человѣкъ пожелалъ отправиться туда «безъ церковнаго пѣнья, безъ ладона», безъ обычнаго напутствія тѣхъ, кого вѣка и милліоны признаютъ офіціальными властителями этого невѣдомаго міра съ его тайнами и судьбами...

Толки по этому поводу разнообразны, какъ разнообразно человеческое море. Но въ стихійно широкій говоръ этого моря во-рвалась все-таки новая нота, въ милліоны нетронутыхъ умовъ палъ новый фактъ и въ милліонахъ сердець шевельнулось новое чувство. Эта мысль и это чувство—«терпимость».

Сейчасъ въ вагонѣ третьяго класса, который уноситъ меня отъ Засѣки и Ясной Поляны,—кто-то читаетъ стихотвореніе. Я слышу только отрывки, производящіе впечатлѣніе странное и противорѣчивое. Прошу у читающаго листокъ. Это Курская Быль. Все содержаніе листка—обычно черносотенное и ненавистническое. Но даже и черносотенный поэтъ говоритъ о Толстомъ: «Вставали, какъ живыя, лица подъ золотымъ его перомъ, горѣла каждая страница небеснымъ генія огнемъ». И хотя затѣмъ «въ душѣ кипучей борьба безумная росла и въ лѣсъ безвѣрія дремучій талантъ великій увлекла»,—но авторъ на этотъ разъ не проклинаетъ и не призываетъ на голову «отступника» всѣ силы ада. И... «за его всѣ заблужденія,—говоритъ онъ,—у милосерднаго Творца да вымолятъ ему прощеніе Россіи вѣра-щей сердца»...

Правда, это только мимолетный проблескъ; но присмотритесь: вѣдь онъ, подъ обаяніемъ великой тѣни, промчался зарницей по всей старой «черной Россіи», съ низовъ и до верху, заставивъ ее признать человѣка въ «отлученникѣ», допустить возможность Божіей милости и спасенія—безъ церковнаго посредни-ва и даже безъ прощенія церкви...

Правда, Толстой—геній, одна изъ высочайшихъ вершинъ человечества, и пока его завоеваніе—только исключительно торже-ство генія. Но вѣдь и солнце прежде всего освѣщаетъ высочайшія вершины, когда въ долинахъ еще залегаютъ мракъ и туманы. Однако, когда надъ мракомъ и туманами встала уже ярко освѣщенная вершина, это — доброе, ободряющее пред-знаменованіе...

Вл. Короленко.

11 ноября 1910 г.

(«Русск. Вѣд.»).

А. И. Купринъ о смерти Л. Н. Толстого.

Наше оправданіе.

Точно золотыя звенья одной волшебной цѣпи, начатой Пушкинымъ и увѣнчанной Толстымъ, точно сіяющія звѣзды одного вѣчнаго созвѣздія, горятъ надъ нами въ неизмѣримой высотѣ безсмертія прекрасныя имена великихъ русскихъ писателей. Въ нихъ наша совѣсть, въ нихъ наша истинная гордость, наше оправданіе, честь и надежда. И глядя на нихъ сквозь черную ночь, когда наша многострадальная родина раздирается злобой, уныніемъ, отчаяніемъ и униженіемъ, мы все-таки твердо вѣримъ, что не погибнетъ народъ, родившій ихъ, и не умретъ языкъ, ихъ воспитавшій.

Какое странное, глубокое волненіе охватываетъ душу, когда подумаешь, что еще вчера Толстой жилъ между нами, былъ доступенъ живому общенію съ людьми, говорилъ, улыбался, страдалъ... И вотъ, прошло нѣсколько часовъ,—и онъ уже отодвинулся отъ насъ на столѣтія, сталъ достояніемъ мировой исторіи, обратился въ легенду.

Онъ и при жизни былъ окруженъ легендой. Удивительную по своему значенію фразу сказала мнѣ вчера одна старообрядка, казачка, женщина интеллигентная, искренняя и глубоко вѣрующая. «Вы и представить себѣ не можете,—говорила она,—какъ у насъ, на Дону, люди старой вѣры почитаютъ имя Толстого, даже тѣ, которые ни одной строчки не прочли, даже неграмотные; онъ для нихъ какой-то символъ чистоты и справедливости». И дальше она прибавила: «Наши попы его похоронили бы торжественно».

Да и правда: сколько миллионовъ людей въ минуты паденія, тяжелыхъ рѣшеній, раскаянія, душевной тоски, отчаянія—вспомнило объ этомъ имени, какъ объ якорѣ надежды. Сколько сотенъ тысячъ тянулось въ Ясную Поляну и получало

тамъ совѣтъ, утѣшеніе, поддержку. Правда, приходили порой со зломъ, съ пустяками, съ однимъ празднымъ любопытствомъ, по, вѣдь, и къ святымъ отцамъ являлись просто глумливцы и попрошайки. Я вѣрю: пройдетъ очень немного лѣтъ, упадетъ, какъ шелуха, и забудется все клеветническое, легкомысленное и низменное, что прилипало къ чудесному имени Толстого, и оно засіяетъ въ сладостной, прекрасной человѣческой легендѣ, точно обвѣянное поэзіей тысячелѣтій.

Какъ полна, богата, разнообразна и свѣтла была его жизнь. Вся она прошла передъ нами, преломленная, точно въ волшебной хрустальной призмѣ, въ его произведеніяхъ и словахъ—вся, отъ младенческихъ лѣтъ до послѣдняго его вздоха.

Охота, война, любовь, болѣзнь, семейная жизнь, рожденіе дѣтей, свѣтское общество, бремя славы, томленія духа, подвигъ—все совмѣстилось въ этой поразительной жизни, и почти все онъ отдалъ намъ, претворивъ въ безконечно художественные образы, въ которыхъ все—правда.

«Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда». Вотъ безцѣнные слова Толстого, одинаково измѣряющія и его бытіе, и его творчество.

Оттого-то вся его жизнь и представляется намъ, какъ ничья другая жизнь, подобной стройному кругу, гдѣ конецъ гармонично впадаетъ въ начало. И какой трогательной простотой, какой глубиной красоты и правдивости звучатъ его послѣднія слова, произнесенныя на маленькой станціи за нѣсколько минутъ передъ смертью!.. Это—тихий, скорбный и нѣжный аккордъ, заключившій великую симфонію. Это—предсмертный шепотъ Николенки, странника Гриши, Пьера Безухова, Константина Левина, князя Неклюдова, старика Акима...

Какъ древній Великій Поэтъ, который, достигнувъ глубочайшей старости, повторялъ ученикамъ непрестанно одно лишь наставленіе: «Дѣти, любите другъ друга, дѣти, любите другъ друга»,—такъ и Толстой въ послѣдніе годы жизни, не уставая, училъ письменно и словесно любви, прощенію и смиренію. И многихъ умиляла, подымала, очищала эта кроткая проповѣдь.

Но безконечно цѣннѣе, милѣе и ближе намъ Толстой творецъ, Толстой художникъ, Толстой—величайшій изъ мастеровъ прихотливаго, непокорнаго, великолѣпнаго русскаго слова. Онъ

Д. М е р е ж к о в с к і й.

Смерть Л. Н. Толстого.

Смерть его—не конецъ, а свершеніе, исполненіе жизни. Чаша наполнялась, наполнилась и перелилась черезъ край земного бытія въ вѣчность.

Плачемъ, но не знаемъ, отъ скорби или отъ радости. Скорбь каждаго изъ насъ—скорбь всего человѣчества, скорбь всей земли. Ибо Духъ Земли воплотился въ немъ, и когда онъ ушелъ, земля опустѣла. Отнынѣ шаръ земной несется пустыниѣ въ пустыняхъ міра.

Кто онъ? Художникъ, учитель, пророкъ? Нѣтъ, больше. Лицо его—лицо человѣчества. Если бы обитатели иныхъ міровъ спросили нашъ міръ: кто ты?—человѣчество могло бы отвѣтить, указавъ на Толстого: вотъ я.

Въ эту минуту мы испытываемъ то, чего никогда никто изъ людей не испытывалъ. Сколько умирало великихъ сыновъ человѣческихъ. Но никогда еще взоры всего человѣчества не устремлялись такъ на одного человѣка; никогда человѣчество не чувствовало такъ, что умеръ сынъ его возлюбленный, сынъ человѣческій.

Тотъ, умершій на Голгоѣѣ, Единородный Сынъ Божій хотѣлъ, чтобы всѣ мы стали сынами Божьими: Я говорю: вы боги, и сыны Всевышняго всѣ вы.

Мы теперь знаемъ, что Толстой—одинъ изъ нихъ. Мы также знаемъ, что все его величіе передъ величіемъ Единаго Сына Человѣческаго—ничтожно. Вѣруемъ, что малѣйшій въ Царствіи Божьемъ наречется, можетъ быть, большимъ, чѣмъ онъ. Но пусть не говорятъ намъ, что самъ онъ этого не зналъ, не хотѣлъ знать, не вѣрилъ во Христа Бога, умеръ отверженнымъ, отлу-

ченнымъ, нераскаяннымъ. Не словами, а всей своей жизнью и смертью онъ Христа исповѣдалъ. Развѣ можно такъ любить человека, какъ онъ Его любилъ; развѣ можно такъ идти за человекомъ, какъ онъ шелъ за Нимъ; развѣ можно такъ умереть за человека, какъ онъ умеръ за Него?

Что бы намъ ни говорили, мы знаемъ, что Сынъ Божій не отвергнетъ сына человѣческаго—Себя Самого въ человѣчествѣ; а что въ эту минуту все человѣчество—въ немъ,—понимаютъ, конечно, и тѣ, кто думаетъ, что онъ Христомъ отверженъ.

Вы, считающіе себя единственными учениками, намѣстниками Христовыми, получившими отъ Него власть разрѣшать и связывать,—опомнитесь, подумайте, что вы дѣлаете.

Развѣ мы не знаемъ, что усопшій великій братъ нашъ—такой же грѣшный человекъ передъ Богомъ, какъ всѣ мы, и, можетъ быть, не меньше, чѣмъ послѣдній изъ насъ, нуждается въ молитвахъ нашихъ и милосердіи Божьемъ. И пусть грѣхъ его въ томъ, что не сумѣлъ или не успѣлъ онъ исповѣдать Христа Богочеловѣка, не успѣлъ, хоть мертвѣющей рукой, дать знакъ, по которому люди поняли бы, что возлюбленный сынъ человѣческій вѣруетъ въ Сына Божьяго. Пусть это больно, страшно. Можетъ быть, намъ еще больнѣе, страшнѣе, чѣмъ вамъ. Но поймите же, что отлучить его отъ Христа — значитъ отлучить все человѣчество, проклясть его—значитъ проклясть весь міръ.

Если можете,—молитесь вмѣстѣ съ нами и вѣрьте, что Господь не отвергнетъ нашей молитвы. Произнесите не мертвыми, а живыми устами: возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣдуемъ.

А если не можете,—то, по крайней мѣрѣ, не лицемѣрьте. Проклиная, проклинаяте до конца. Хоть въ эту страшную минуту, надъ раскрывшейся могилой, не лицемѣрьте, не увѣряйте насъ, что онъ умеръ, покаившись, какъ вамъ того хотѣлось бы,—проклявъ себя, отрекшись отъ всей правды своей,—той не сказанной, неисповѣданной, неисповѣдимой любви ко Христу Богу, съ которой онъ жилъ и умеръ. Что бы вы ни говорили,—все равно, никто не повѣритъ вамъ.

Если не можете молиться съ нами, то отойдите, не мѣшайте намъ. Мы одни за него помолимся. Но знайте, что въ эту минуту все человѣчество преклоняетъ колѣна надъ прахомъ возлюбленного сына своего и молится едиными устами, единымъ сердцемъ, единымъ воплемъ. И если русская помѣстная цер-

ковъ безмолвствуетъ, то вопіеть все христіанское человѣчество, церковь вселенская: упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего! И дойдетъ до Бога, дойдетъ этотъ вопль.

Предстоящій нынѣ Господу, усопшій братъ нашъ, помолись и ты за насъ,—не только за свою родную землю, которую ты такъ любилъ, но и за все человѣчество, за всю землю, потому что вся земля—тебѣ родная. Скажи тамъ, предъ лицомъ Господнимъ, то, что ты здѣсь говорилъ всю жизнь:

Да прійдетъ царствіе Твое.

Д. Мережковскій.

(«Рѣчь»).

Епископъ Михаилъ о смерти Л. Н. Толстого.

Толстой и церковь.

I.

Смѣю думать, что я отъ церкви
никогда не отдѣлялся.

Л. Толстой (Изъ письма къ
священнику).

«Для одной стороны—здѣсь мучительная трагедія, для другой—судь страшный»—сказаль по поводу «отлученія Толстого» епископъ Сергій.

Онъ разумѣлъ: для церкви трагедія, для Толстого—судь.

Исторія столкновенія Толстого съ церковью не въ моментъ только церковной анафемы, а со времени «Исповѣди», для одной стороны, дѣйствительно была святой трагедіей; для другой «страшнымъ судомъ», но трагедіей не для церкви; судомъ не для еретика.

Для Толстого его разрывъ съ церковью, конечно, былъ одинъ изъ актовъ сложной и мучающей трагедіи, потому что въ немъ, позволю себѣ этотъ парадоксъ, болѣе чѣмъ въ комъ-нибудь жилъ «христіанинъ - церковникъ».

...«Смѣю думать, что я отъ церкви никогда не отдѣлялся».

Церковникъ—конечно, не въ смыслѣ тяготѣнія къ формамъ и организаціямъ церквей (ихъ онъ отрицаль страстно и искренно, какъ противощерковности), а въ смыслѣ большой жажды общаго единенія, слитности; любовнаго сплетенія всѣхъ со всѣми и каждаго съ каждымъ.

Въ смыслѣ вѣчнаго: «Гдѣ двое и трое во имя Мое—тамъ Я»...

Со всѣми быть вмѣстѣ, съ старушкой передъ иконой, съ митрополитомъ Антоніемъ, потому что «онъ человѣкъ».

Съ кѣмъ-нибудь разорвать, отъ кого-нибудь отдѣлиться—для Толстого всегда должно было быть страданіемъ и мукой.

«Да всѣ едино будутъ». Объ этомъ онъ молился со страстностью, близкой къ той, съ какой молился Тотъ, Кто впервые сказалъ эти слова въ муку до кроваваго пота.

И, значить, анаеема, актъ раздѣленія и ненависти долженъ, быть его тяготить и мучить.

Не потому, что его отогнали, а потому, что отъ него, тоже человѣка, люди нашли возможнымъ отдѣлиться, оторваться.

Совершить злое дѣло разъединенія, разрыва человѣка съ человѣкомъ. да при томъ оторваться не только во имя свое, а во имя многихъ...

И вотъ оттого, что съ этой стороны въ разрывѣ была мука, а съ другой—никакой муки не было, для этой другой и начинался судъ.

Только равное страданіе любви, разрываемой съ обѣихъ сторонъ, могло бы обѣ стороны сдѣлать правыми.

Но этого равнаго страданія и не было.

Съ одной стороны, стороны Толстого—тоска, годы размысленій до петли, страданіе Іова, и въ концѣ-концовъ,—бунтъ Іова до разрыва иногда, въ инныя минуты съ самимъ Христомъ, съ сознательнымъ разрывомъ, съ прямымъ бунтомъ противъ Него, во имя Его.

Ради поправной любви къ человѣку, оскудѣнія земной правды и чистоты, и Его онъ минутами съ кровью отрываетъ отъ сердца.

«Онъ мнѣ врагъ, потому что врагъ Себѣ», говоритъ Л. Н. Алехину.

И какъ противъ Христова врага, борется противъ загораживающей Его церковной роскоши.

«Ты проповѣдуешь положить душу за ближняго—принимаю. Ты Самъ былъ распятъ за ближнихъ—поклоняюсь Тебѣ. Но у Тебя есть излишняя роскошь: твоя церковь, ея обряды. Ихъ боюсь. Вижу, кажется мнѣ, что они любовь гасятъ. Бунтую противъ нихъ и Тебя».

Дорожа единеніемъ со всѣми, съ каждой старушкой, даже съ Скворцовымъ, потому что «человѣкъ».

Л. Н. вынужденъ былъ бунтовать такъ гнѣвно и жестоко, что его палящія слова могла принять одна любовь.

И горѣлъ, въ желаніи единенія всѣхъ, въ мукѣ разрыва.

А навстрѣчу ему шла бумага.

«Допустимъ, что Толстой бѣсъ передъ Христомъ, но синодъ то былъ не Христомъ, а римскимъ или византійскимъ юрисконсультотъ самое большее» (не помню, кто это сказалъ).

И здѣсь былъ судъ.

Вообще, встрѣча съ ересью, бунтомъ, всегда была опаснымъ «преткновеннымъ» пробнымъ камнемъ для исторической церкви.

Къ бунту разномысленія она не умѣла относиться какъ «церковь» и относилась, какъ внѣшняя цензура, охраняющая сила, торопящаяся оторвать отъ себя опасность.

Апостолъ Павелъ понималъ, какъ нужна для церкви «ересь», т.-е. разномысліе, бунтъ. «Подобаетъ раздѣленіямъ быти...» (по гречески: ересямъ). Нужно имъ быть, они желательны, а значитъ, говоря по христіански, отъ Бога.

Нужно быть раздѣленіямъ, — разсуждаетъ онъ, — чтобы вскрылась, умиралась, найдена была истина.

«Подобаетъ ересямъ быти» для того, чтобы было живо и двигалось религіозное сознаніе, чтобы не покрылась плѣсенью застывшая. омертвѣвшая мысль и религіозная совѣсть.

«Ересь» — «бродило», т.-е. тотъ животворящій ферментъ, который охраняетъ отъ гніенія и застоя.

«Церковь, — повторяю свою недавнюю рѣчь въ бесѣдѣ съ Л. С. Мережковскимъ, — умерла бы безъ бунтовщиковъ. Они заставляли осмысливать религіозный символъ.

«Церковь могла защищать, что считала правдой, но она не можетъ относиться иначе, какъ съ трепетомъ благодарности къ тѣмъ, кто въ огнѣ и мукѣ исканія потрясалъ опасно гихія воды успокоившагося исповѣданія. Если ихъ бунтъ, ихъ грѣхъ, то, изъ благодарности, на всѣ совѣсти разложена должна быть тягота грѣха. А бунтовщикъ святъ мукой сомнѣнія и бунта...»

Но въ позднѣйшей исторіи церкви я знаю только одинъ случай, когда церковь осудила то, что считала не истиной и не рѣшилась отказаться отъ еретиковъ.

Въ VI вѣкѣ она осудила книги двухъ епископовъ и не осудила ихъ.

Книги осуждаемъ, но «люди съ нами. Они наши. Отъ нихъ не хотимъ отказаться...».

Но только одинъ разъ.

И въ дѣлѣ еретичества Толстой церковь не нашла въ себѣ этой христіанственности судей Теодорита и Ивы.

Они могли осудить заблужденія, но осужденіе окружить такой благодарной нѣжностью (именно такъ), чтобы и въ разрывѣ было единеніе.

«Если Толстой слѣпъ въ чемъ-нибудь, то вѣдь яркая любовь—къ любви—его сдѣлала слѣпымъ».

«И потому, осуждая его, церковь могла и должна была засвидѣтельствовать и «то, что подобно языческому слѣпцу «Омиру», чей ликъ изображенъ рядомъ съ ликами православныхъ святыхъ въ московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ, и этотъ «слѣпецъ» (пусть «слѣпецъ») въ своемъ ясновѣдѣніи касался Духа Святого».

«Христу поетъ тайной житія своего совершая сіе». (Мережковский).

Но на это любви не достало, и въ этомъ былъ судъ.

Вонстину, страшный судъ.

II.

«Судомъ» былъ не только актъ отлученія. Такимъ же судомъ было—все, что дало оффиціально - церковное сознаніе въ отвѣтъ на вызовы Іова.

Въ исторіи русско-церковнаго сознанія—Толстой былъ бродиломъ исключительнаго сознанія, и не его вина, что изъ его заправки, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ отлучившей церкви, ничего не возшло.

Толстой—и только онъ—далъ начало хотя бы ничтожному и робкому, но все же движенію ортодоксальной, даже «архіерейской» мысли къ психологическому осмысленію догмата, къ очищенію нехристіанскаго катехизиса.

Какъ бы ни относились къ содержанію религіознаго ученія Л. Н., однако, всѣ должны признать, что если мертвый застой филаретовщины поколебленъ,—увы!—на короткое время, то именно Толстымъ, его «Исповѣдь» и «Критикой догматическаго богословія».

Онъ билъ жестоко и безжалостно: ему самому было больно видѣть ограбленную проповѣдь на «зеленой горѣ».

Письмо духовенству «Разрушеніе и возстановленіе ада» — жгло жестокостью упрековъ и обвиненій. Кровью и огнемъ были написаны эти рѣчи.

И не могли не разбудить мертвыхъ.

Духовенство въ области раскрытія церковной истины, до сихъ поръ скованное буквой догматики Макарія, пытается отыскать какую-то новую дорогу психологическаго обоснованія вѣры. Какъ ни мала цѣнность новой теологіи Михайловъ Грибановскихъ — Антоніевъ Волынскихъ (періода молодости), все же сѣмена тревогъ и бунта явны въ ихъ модернистскихъ работахъ.

Но компромиссъ Сатаны вѣка царствуетъ. Профессіонализмъ, оскотворяющій религіозную мысль, не позволялъ принять даже то, что противъ воли принимали всѣ совѣсти.

Самъ Л. Н. зналъ объ этомъ рожденномъ имъ броженіи. Въ своей брошюрѣ «Къ духовенству» онъ говоритъ о людяхъ, окутывающихъ ложь вѣры новымъ обольстительнымъ туманомъ.

Онъ отмѣтилъ дѣйствительный фактъ: люди на минуту встревоженные, явно сознавшіе хотя бы частично нехристіанственность своего христіанства, всѣ силы отдали на неблагодарное дѣло чинки христіанства заплатами; заторопились одѣть старое въ новыя одежды, прикрасить его.

Религіозныя выступленія Л. Н. съ трехъ сторонъ вызвали реакцію въ лагерѣ церковниковъ.

Одни просто и прямолинейно справляются съ новой моралью и религіей.

Ихъ методъ (по поводу лекціи профессора каз. академіи Гусева) хорошо характеризовали студенты:

«Л. Н. говоритъ: не убій! Гусевъ настаиваетъ: Да; и убивай пожалуйста».

Л. Н. говоритъ: не клянись! Гусевъ: клянись больше»...

Эти своей откровенностью успѣшно выяснили, какая моральная бездна лежитъ между старымъ и новымъ христіанскимъ міровоззрѣніемъ.

Другіе — около тѣхъ же Гусевыхъ и Бронзовыхъ, конфузясь, очевидно, только ихъ откровенности, пытались загладить бездну компромиссомъ — тѣмъ «обольстительнымъ туманомъ», о какомъ говорилъ Л. Н.

И только немногіе просто останавливались, задумывались и...

шли новыми путями, хотя бы не за Толстымъ. Я говорю о людяхъ; до сихъ поръ твердо стоявшихъ на старой вѣрѣ, ортодоксалахъ; часто и послѣ не сошедшихся съ Л. Н. въ его взглядахъ; но цѣликомъ ему обязанныхъ тѣмъ, что отошли на разстояніе отъ стараго, чтобы осмотрѣться. И осмотрѣвшись, увидѣли Христа ограбленнымъ; и сокровище нагорной проповѣди расхищеннымъ.

Но настоящее живое броженіе Л. Н. создалъ, конечно, не здѣсь; а тамъ, гдѣ Христа совсѣмъ не знали, или шли за нимъ по привычкѣ. Сколько такихъ, которые отъ Л. Н. Толстого впервые узнали о христіанствѣ? Только имъ крещены въ него? Сколько было такихъ, которые въ свое время списывали съ дрожью и ужасомъ строки «Въ чемъ моя вѣра?»

И съ разрушеніемъ одной вѣры, номинальной и мертвой, въ мукахъ рожденія творилась новая вѣра.

Иногда она была Толстовской, иногда не Толстовской, но все равно уже новой и живой.

Число этихъ новокрещенныхъ безчисленно, а можетъ быть; до сихъ поръ вновь ожившія религіозныя исканія и тревоги въ далекихъ корняхъ возвращаются къ той же потрясающей, кровью написанной «исповѣди»; которая взбудоражила мертвую тишь 40 лѣтъ назадъ.

Епископъ Михаилъ.

(«Рѣчь»)

Японцы и Китайцы о Л. Н. Толстомъ.

Свѣтильникъ міра.

Толстой свѣтитъ надъ всѣмъ міромъ... И это не фраза, а сама дѣйствительность. На протяженіи многихъ столѣтій, на протяженіи всей исторической жизни, мы не знаемъ другого, подобнаго Толстому, примѣра: онъ при жизни пережилъ свое безсмертіе и явился гражданиномъ всего міра, апостоломъ, къ голосу котораго прислушиваются всѣ народы, учителемъ, имѣющимъ учениковъ среди всѣхъ націй міра. Толстой, это—апостолъ челоуѣка, въ лучшемъ значеніи этого слова. Титанъ-художникъ, великій мыслитель—онъ, какъ никто другой, умѣлъ заглядывать въ тайники души челоуѣка и возбуждать благородныя чувства. Онъ, вѣчный искатель истины, своимъ вліяніемъ превзошелъ пророковъ и учителей древности. Постигнувъ глубину ученія Христа, Будды и Лаодзе, онъ сдѣлался одинаково понятенъ и на Востокѣ, и на Западѣ, на Сѣверѣ и на Югѣ. Если бы онъ жилъ въ Индіи, на родинѣ Сакіа-Муни, онъ при жизни своей былъ бы признанъ баттисатвой, однимъ, изъ небесныхъ буддъ. Область знанія Толстого безмѣрна, его слава покрыла собою славу всѣхъ тѣхъ, кто жилъ до него, и нѣтъ ему равнаго въ современномъ мірѣ.

«Левъ Толстой,—пишетъ Люси Молкри,—есть величайшій вождь, учитель и реформаторъ современной эпохи. До него челоуѣчество еще никогда не имѣло вождя, вліяніе котораго захватывало бы весь міръ».

Онъ, по справедливому замѣчанію П. Маргеритъ, «моральный свѣтъ челоуѣчества, и мы поклоняемся съ глубокимъ почтеніемъ писателю, который былъ апостоломъ, и апостолу, который былъ челоуѣкомъ», благодаря чему вліяніе его ученія и личнаго примѣра безгранично.

Его знаютъ въ Японіи, гдѣ, по словамъ Наоши Кото, «ни одинъ писатель японской исторіи послѣ 19-го столѣтія не можетъ упустить, что, по крайней мѣрѣ, часть японской мысли вы-

лилась въ форму идеаловъ, выраженныхъ въ произведеніяхъ Толстого». «Свѣтъ есть свѣтъ отъ Бога, а не свѣтъ отъ Востока или Запада. Чтобы свѣтъ свѣтилъ—пишетъ индусъ магометанинъ Абдулахъ-аль-Мамукъ Сухралари,—безразлично, горитъ ли онъ въ золотомъ, серебряномъ или глиняномъ свѣтильникѣ; китайскій ли онъ, русскій или арабскій. Этотъ русскій графъ; этотъ учитель и пророкъ—предметъ моего почитанія», ибо «я ношу въ себѣ тѣ же переживанія, которыя давали міру Христосъ, Будда и Толстой».

«Лаодзе и Конфуцій, благодаря мудрости, дожили до глубокой старости. Вашъ Толстой,—говорилъ мнѣ одинъ китайскій ученый Сіо-Чжанъ,—не менѣе мудръ, чѣмъ наши учителя, и Провидѣніе наградило его величіемъ старости, которая переходитъ въ безсмертье, а не въ смерть».

Камба-лама Гамбоевъ, шеритуй гусино-озерскаго дацана, одинъ изъ почитателей Толстого среди бурятъ и монголовъ, приравниваетъ Толстого къ миеу объ искупленіи «арьябалло», вошедшаго въ религію ламаитовъ. «Какъ «арьябалло»,—объяснялъ онъ мнѣ значеніе Толстого,—аллегорически надѣленъ тысячею рукъ и тринадцатью головами мудрости для того, чтобы водворить добро и уничтожить зло на землѣ, такъ и Толстой одаренъ безпримѣрной мудростью, величайшимъ геніемъ, безконечной добротой, долготѣіемъ, которые не вмѣстимы въ обыкновенномъ человѣкѣ, и все это для блага человѣчества. Онъ баттисатва, вліяніе котораго такъ же вѣчно, какъ вѣченъ міръ».

«Многіе изъ моихъ соотечественниковъ, — пишетъ индусъ Четта,—и теперь уже смотрятъ на Толстого, какъ на проявленіе божества. Портретъ Л. Н., украшающій мою комнату, является иногда для заходящихъ ко мнѣ предметомъ почти религіознаго поклоненія. И живи Толстой не въ Европѣ, а въ Индіи; онъ, навѣрное, уже считался бы Буддой или Три-Кришной».

Нѣтъ, кажется, на землѣ уголка или мѣстечка, гдѣ бы не знали Толстого. Имя его извѣстно въ вѣчно цвѣтущей Японіи, глубинахъ Азіи и въ таинственной Индіи. Въ Африкѣ, Америкѣ и Австраліи Толстой, какъ великій художникъ и глубокий мыслитель, извѣстенъ болѣе, чѣмъ свои, родные, туземные писатели.

Смерть Толстого, это—апоѳеозъ его твореній, мыслей, образовъ и ученія...

И. Поповъ.
(«Утро Россіи»).

Англичане о смерти Л. Н. Толстого.

Въ глазахъ англичанъ Толстой занимаетъ совершенно особое мѣсто. Они его цѣнили съ своей чистонаціональной точки зрѣнія и находили въ немъ именно то, что наиболѣе родственно ихъ душѣ, ихъ національному характеру, ихъ идеалу величія. Они, конечно, отлично сознавали его достоинства, какъ первокласснаго художника, и не меньше другихъ зачитывались его «Казаками», его «Войной и Миромъ», его «Анной Карениной». «Воскресеніемъ». Понимали они толкъ и въ его маленькихъ разсказахъ и сказкахъ, этихъ перлахъ эпической литературы. Но все-таки не это такъ влекло къ нему англичанъ, и не это отличало его въ ихъ вниманіи къ нему отъ другихъ выдающихся иностранныхъ писателей.

Еще меньше, конечно, они могли увлечься его ученіемъ. Какъ народъ слишкомъ практическій и осторожный, они ясно видѣли всѣ слабыя мѣста теоріи непротивленія злу, которая къ тому еще и не была для нихъ, выдѣлившихъ секту квакеровъ, этихъ прототиповъ духоборовъ, еще въ XVII ст.; чѣмъ-то новымъ и поразительнымъ. Осужденіе войны, восхваленіе физическаго труда, отрицаніе всякой обрядности, роскоши и сословности, съ ея титулами и привилегіями, они слышали еще 250 лѣтъ назадъ изъ устъ Георга Фокса, объявившаго, что истина находится не въ наукѣ, не въ религіозной обрядности, а въ каждомъ человѣческомъ сердцѣ, «внутри насъ». Нѣтъ, не художественность произведеній и не глубина или новизна ученія Толстого поставили въ глазахъ англичанъ этого русскаго писателя и мыслителя на необычайно высокій пьедесталь. Для нихъ у Толстого были, такъ сказать, особыя права на преклоненіе передъ нимъ. Для англичанъ, какъ для народа глубоко библейскаго и миссіонерскаго, Толстой былъ особенно дорогъ, какъ «миссіонеръ христіанства». Они его почитали съ такимъ же чувствомъ, какъ они и понынѣ почитаютъ память своего Ливингстона, работавшаго среди бушменовъ въ дебряхъ Африки. Писанія Толстого были для англичанъ тѣмъ проповѣдничествомъ, которое завѣщено было Христомъ ученикамъ Его. «Идите по всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари». Въ глазахъ англичанъ Толстой исполнилъ этотъ долгъ въ условіяхъ, которыя оказали бы честь и величайшимъ миссіонерамъ, принявшимъ даже мучени-

ческую смерть. Онъ не боялся говорить и проповѣдывать свое Евангеліе до конца дней своихъ и передъ лицомъ величайшихъ опасностей. Наоборотъ, онъ просилъ, онъ жаждалъ этихъ опасностей, этихъ мукъ, которыя не разъ увѣнчали дѣло великихъ религіозныхъ дѣятелей. Быть можетъ, ничто изъ написаннаго Толстымъ не произвело на англичанъ такого сильнаго впечатлѣнія, какъ его письмо въ «Times», въ 1908 г.: «Не могу молчать», въ которомъ великій старецъ выразилъ желаніе скорѣе надѣсть на свою «старую шею» намыленную веревку, чѣмъ терпѣть продолженіе ужасовъ смертныхъ казней въ Россіи.

Правда, одно время нѣкоторые изъ англичанъ увлекались не только самымъ подвигомъ миссіонерства Толстого, но и сущностью его ученія, и недалеко отъ Лондона, въ Парли, въ графствѣ Эссекъ, появилась въ серединѣ 90-хъ годовъ колонія «толстовцевъ». Но именно полное и быстрое фiasco этой колоніи, которую я въ свое время успѣлъ описать въ издававшейся тогда «Недѣлкѣ»; показало, какъ мало ученіе Толстого подходило англичанамъ. Колонія составила изъ девяти или десяти человѣкъ, изъ которыхъ лишь двое или трое были, дѣйствительно, рабочіе, а остальные—интеллигенты. Былъ тутъ отставной офицеръ, служившій раньше въ Индіи; химикъ, читавшій раньше лекціи; конторщикъ изъ банка; молодой сынъ богатыхъ родителей, еще совсѣмъ безусый юноша; приказчикъ, и т. д. Все должно было у нихъ быть общее; счетоводства не полагалось; работать должны были всѣ одинаково, но, само собою разумѣется, безъ принужденія или упрековъ, въ случаѣ лѣни. Но какъ-то такъ выходило, что отставной офицеръ предпочиталъ читать отрывки изъ великихъ писателей окружавшимъ его во время обѣда колонистамъ, а работать лопатой предоставлялъ другимъ. Химикъ, грубый и очень ограниченный человѣкъ, гордившійся своими толстыми икрами на ногахъ, бѣгалъ босымъ и взялъ на себя «управленіе» хозяйствомъ, и оказалось, что портной дѣлалъ кирпичи, а конторщикъ съ приказчикомъ владѣли ихъ на постройкѣ дома. Въ первый же годъ всѣ деньги, какія были положены въ общую кассу, были растащены; колонисты перессорились; химикъ съ прекрасными икрами утащилъ чью-то жену; офицеръ записался въ социалисты, а остальные разбрелись кто-куда, и теперь, когда встрѣчаю кого-либо изъ нихъ, то обыкновенно вспоминаютъ о Парли съ какой-то стыдливой улыбкой на лицѣ, словно мальчишки, попавшіеся въ какой-то шалости.

Въ настоящее время въ Англіи уже нѣтъ ни одного «толстовца», и замѣчательно, что именно въ послѣдніе годы, при полномъ отсутствіи «учениковъ» великаго учителя, имя послѣдняго стало особенно дорого англичанамъ. Оно какъ бы очистилось отъ приставшихъ къ нему плевелъ, отъ глупыхъ легендъ, отъ противныхъ вѣчно жужжавшихъ кругомъ него мухъ. Орелъ великаго писателя засіялъ чистымъ свѣтомъ искренняго подвижничества, глубокой любви и всеобъемлющей мысли, тѣмъ именно свѣтомъ, который горитъ собственной силой, а не благодаря маленькимъ щепкамъ и полѣнцамъ, которыя подкидываютъ въ огонь ученики: отъ нихъ идутъ только чадъ и дымъ. Вотъ почему въ англійскихъ некрологахъ мы теперь и встрѣчаемъ отзывы о Толстомъ, какихъ на нашей памяти намъ раньше не приходилось читать ни о какомъ другомъ умершемъ современникѣ.

«Словно солнце зашло»,—сказалъ сэръ Вальтеръ Скоттъ, услышавъ о смерти Байрона. То же самое мы можемъ сказать по поводу кончины Толстого. Величайшей личности нашего времени уже больше нѣтъ. Немного людей за послѣднее столѣтіе имѣетъ такое глубокое и широкое вліяніе, какъ Толстой, этотъ одареннѣйшій человѣкъ, великій учитель и проповѣдникъ». Такъ отзывается «Daily Chronicle».

«Если бы Толстой жилъ во времена Бетховена, то послѣдній, навѣрно, посвятилъ бы ему новую «Eroica» (первая, какъ извѣстно, посвящена Наполеону I). Но куда этой темѣ коснется музыка, приходится выразить величіе Толстого словами. Къ сожалѣнію, при всей энергіи всѣхъ писателей, пройдетъ еще не мало времени, куда мы получимъ настоящій портретъ Толстого». Такъ пишетъ «Pall Mall», полная политическая противоположность первой газеты.

(«Речь»).

Французы о Л. Н. Толстомъ.

Парижскій корреспондентъ «Zeit» опросилъ нѣкоторыхъ французскихъ писателей объ ихъ отношеніи къ Толстому и получилъ слѣдующіе отвѣты:

Анри Батайлъ: Судьба подарила Толстому долголѣтіе, и въ этомъ—его счастье. Мировая литература дала нѣсколько такихъ примѣровъ, это: Вольтеръ, Гюго, Гете. Что французовъ поражаетъ, это—необъяснимая преданность Толстого религіи, которую онъ же и создалъ. Толстой сталъ апостоломъ своего народа, и послѣ него останутся легенды.

Его вѣѣшность—вѣѣшность святого и она навсегда останется передъ нашими глазами.

Анатоль Франсъ: Толстой относится къ другимъ современнымъ писателямъ, какъ астрономъ, дѣлающій наблюденія посредствомъ телескопа, къ біологамъ, которые дѣлаютъ наблюденія при помощи микроскоповъ. Другими словами: у Толстого все грандіозно, мы же изучаемъ по мелочамъ.

Жанъ Жоресъ: Толстой боролся за права человѣка. Дѣло не въ томъ, одухотворена ли эта борьба христіанскими идеями или принципами социализма. Всѣ люди, стремящіеся къ свободѣ и справедливости, связаны узами близости. Дѣло Толстого—одинъ изъ безсмертныхъ источниковъ, гдѣ въ извѣстные моменты встрѣчаются всѣ, кто прорубаетъ путь черезъ лѣсъ.

Октавъ Мирбо: Въ наше время кричащей рекламы Толстой, ничего не искавшій, стоялъ какъ нѣчто недосягаемое. Мудрецъ изъ Ясной Поляны жилъ и остался непонятнымъ. Онъ жилъ слишкомъ рано и слишкомъ поздно. Что бы было, если бы этотъ апостолъ любви жилъ, напр., въ эпоху Вольтера? Я всегда питалъ глубочайшее благоговѣніе къ этому величайшему изъ поэтовъ.

(«Речь»).

В. Обнинскій о смерти Л. Н. Толстого.

Национальное горе.

Несмотря на то, что и преклонные годы Толстого, и, тѣмъ болѣе, физически непосильный подвигъ, приведшій къ болѣзни въ пути, подготавливали общество къ воспріятію вѣсти о кончинѣ гениальнаго писателя, все же вѣсть эта застаётъ насъ неподготовленными. Какъ внезапно разверзшаяся подъ ногами бездна, какъ неожиданно затмившееся солнце, событіе это не даетъ ни перспективы для всеобъемлющаго измѣренія, ни знанія его непосредственныхъ послѣдствій.

Одно выяснилось съ несомнѣнностью: смерть Толстого, какъ и его творенія, есть достояніе не одной Россіи, но и всего міра; и съ этой точки зрѣнія нельзя не пожалѣть, что самыя похороны не отложены до возможности прибытія делегацій отъ чужихъ странъ и не обставляются въ соотвѣтствіи съ міровымъ своимъ значеніемъ; какъ и всякое горе по человѣкѣ, наше горе по Толстомъ стремится къ внѣшнему выраженію, и великая скромность почившаго не была бы оскорблена никакимъ такимъ выраженіемъ.

Но какъ бы ни свыклись мы съ мыслью о томъ, что Толстой давно уже не принадлежалъ намъ безраздѣльно, потеря его прежде всего является безысходнымъ горемъ русской націи и навсегда таковымъ пребудетъ. Признаки національнаго характера мы находимъ,—не столько въ положительныхъ проявленіяхъ единодушія, сколько въ отсутствіи отрицательныхъ.

Россія единодушна въ эти дни горя. Отъ дворца до хижины, отъ умственныхъ высотъ и до равнины невѣжества, зсюду протянулась печаль, какъ осенній безрадостный туманъ, обволакивая контуры предметовъ и заслоняя дали. Подъ кровомъ этого тумана легче родятся легенды, и народы творятъ ихъ именно въ такой обстановкѣ.

Съ этой точки зрѣнія нельзя признать положеніе церкви легкимъ. Отторгнувъ Толстого отъ себя, она совершила актъ, который при всей формальной чистотѣ не былъ усвоенъ ни невѣрующей интеллигенціей, ни народными массами и который ни юты не убавилъ въ христіанскомъ обликѣ отлученнаго. Наоборотъ, отлученіе могло только радовать яснополянскаго муд-

реца, какъ снятая чужими руками одежда, сшитая не по тѣлу и всегда его стѣснявшая. Оставшись, съ того момента, какъ бы наединѣ съ своимъ Богомъ, Толстой сумѣлъ и въ старости совершить тѣ труднѣйшіе шаги, что приводятъ на вершины духа лишь избранныхъ. И эта работа была у всѣхъ на виду, и послѣдній этапъ ея навсегда останется прелестнымъ, лучезарнымъ апоэозомъ, въ свѣтѣ котораго померкнутъ всѣ недоразумѣнія, всѣ враждебныя теченія и мысли по отношенію къ ушедшему въ тотъ міръ старцу.

Вотъ почему остается жалѣть церковь, не успѣвшую въ своемъ намѣреніи примириться съ отлученнымъ нѣкогда сочленомъ. Понятно, что находясь въ здоровомъ умѣ до послѣдняго вздоха, Толстой и не могъ бы ни въ чемъ измѣнить своимъ кореннымъ вѣрованіямъ и не взялъ бы назадъ ни одного изъ произнесенныхъ словъ своихъ.

Но въ народѣ останется знаніе, что «старикъ» передъ смертью посѣтилъ два монастыря. Знаніе это, конечно, приметъ гомерическіе абрисы легенды и перейдетъ въ мысль о томъ, что духовный вождь народа какъ бы шелъ къ церкви. И когда церковь откажетъ этому народу въ молитвахъ за душу человѣка, въ устахъ и дѣлахъ котораго слово Богъ никогда не было пустымъ звукомъ, народъ не пойметъ формальной правды, а пойдетъ въ своихъ мысляхъ по пути, еще болѣе смущающему «малыхъ сихъ», по пути новаго отдаленія отъ таковой нужной ему силы, какой является правильно функціонирующая церковь.

И національное горе отягчается сознаніемъ, что эта великая скорбь такъ не объединила Русь въ духовномъ порывѣ, какъ объединила ее въ умственномъ.

В. Обнинскій.

(«Утро Россіи»).

Скорбныя параллели.

Семьдесятъ три года назадъ въ одно скверное февральское утро по улицамъ новой русской столицы стремительно, на курьерскихъ, пролетѣлъ небольшой траурный кортежъ и такъ же быстро въ сопровожденіи жандармовъ помчался по большой исконной дорогѣ въ глушь Островскаго уѣзда, гдѣ его встрѣтилъ кан-

целярскій чиновникъ мѣстнаго уѣзднаго полицейскаго управленія, чтобы сопровождать покойника до мѣста его вѣчнаго упокоенія въ Святогорскомъ монастырѣ. Все это было исполнено въ силу точныхъ распоряженій высшаго петербургскаго начальства. Послѣ отпѣванія на Конюшенной смоляной ящикъ съ дѣломъ покойнаго былъ переданъ ямщикамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ посланы три бумаги: 1) губернатору отъ министра внутреннихъ дѣлъ приказъ распорядиться о приѣмѣ тѣла (т. е. смолянаго ящика) полиціей; 2) письмо Клейнмихеля о томъ же; 3) письмо оберъ-прокурора святѣйшаго синода мѣстному преосвященному о преданіи тѣла землѣ безъ особыхъ встрѣчъ и оказанія какихъ-либо почестей. Получивъ такія бумаги, не только псковскій губернаторъ, но и островскій исправникъ, не рискнулъ отправиться для встрѣчи покойника: вѣдь «особыхъ встрѣчъ» не должно было быть и «какія-либо почести не полагались». Потому и встрѣчалъ, и провожалъ мелкій полицейскій чиновникъ, который потомъ засвидѣтельствовалъ начальству, что дѣло сдѣлано согласно предписанію: осмоленный ящикъ зарытъ въ землю или, точнѣе, въ снѣгъ у одного изъ алтарей обители. Чтò въ дѣйствительности заключалось въ этомъ ящикѣ, кого хоронили, чиновникъ не зналъ; не знали и ямщики, примчавшіе ящикъ изъ Петербурга, не знали и солдаты-жандармы, сопровождавшіе этотъ необыкновенный траурный поѣздъ. Другихъ свидѣтелей не было, кромѣ А. И. Тургенева, слѣдовавшаго за тѣломъ изъ Петербурга до Святыхъ горъ... Онъ-то зналъ, какую таинственную кладь мчали на курьерскихъ изъ столицы русскаго царства, чтобы зарыть на Святыхъ горахъ! Знала объ этомъ и вся та небольшая кучка грамотныхъ людей, николаевского времени, которая читала книжки и почитала писателей,— знала, но шепотомъ произносила имя опальнаго мертвеца, и только одинъ юноша-геній, заплатившій черезъ пять лѣтъ жизнью за свою смѣлость, отважился громко назвать вещи своими именами...

Такъ Россія тридцатыхъ годовъ похоронила Пушкина.

Пролетѣло три четверти вѣка,—и какъ преобразился внѣшній обликъ страны. Пало крѣпостное право; мы даже собираемся праздновать полувѣковой юбилей его отмѣны. Выросли города въ необъятныя многоэтажныя громады, распространилась грамотность даже по захудалымъ деревнямъ, а съ ней и имя Пушкина. и имена другихъ великихъ русскихъ людей. Перестали ѣздить на

перекладныхъ и на курьерскихъ; по крайней мѣрѣ по большимъ трактамъ, оборудованнымъ сѣтью рельсовыхъ путей. Въ Невской столицѣ собрались палаты «излюбленныхъ» людей, чтобы судить о самыхъ важныхъ матеріяхъ и рѣшать самыя насущныя государственныя дѣла... И когда умеръ другой Великій, умеръ не въ главномъ центрѣ страны, а въ жалкомъ мѣстечкѣ, затеряншемся въ безбрежной степи, скорбная вѣсть объ этомъ была разнесена по всему міру не стоустымъ шопотомъ, а по телеграфу съ пропечатаніемъ во всѣхъ газетахъ. И повезли тѣло дорогого покойника не на курьерскихъ ничего не знающіе ямщики, а по стальнымъ рельсамъ; особымъ поѣздомъ, разукрашеннымъ вѣнками. И свидѣтели похоронъ нашлись, и провожатые были. Густыя толпы простыхъ православныхъ русскихъ людей, случайно оказавшихся въ томъ мѣстѣ, гдѣ умеръ великій человѣкъ и гдѣ провозили его тѣло, съ обнаженными головами шли къ гробу; хотя не было здѣсь «ни дерковнаго пѣнья, ни ладана». II,—что еще важнѣе,—толпа знала; кого она такъ хоронитъ, знала, почему такъ хоронятъ; и сама пѣла дорогому покойнику «вѣчную память». Но еще траурный поѣздъ не успѣлъ дойти до станціи назначенія, какъ и тамъ стали приготовляться къ встрѣчѣ, только не такой, какую Великому оказываютъ повсюду простые русскіе люди. Нѣтъ, тамъ готовилась встрѣча въ духѣ стараго, 30-хъ годовъ; тройнаго предписанія. «Дороги между станціей Засѣкой и Ясной Полянкой,—разносить по всему міру услужливый телеграфъ,—усѣяны конными и пѣшими стражниками; окликающими всѣхъ проходящихъ»... И также въ духѣ 30-хъ годовъ о преданіи тѣла землѣ «безъ особыхъ встрѣчъ и оказанія какихъ-либо почестей» принята другая вполне цѣлесообразная мѣра. Въ вѣкъ желѣзныхъ дорогъ никакіе Тургеневы на курьерскихъ не поспѣютъ... Надо ѣхать въ желѣзнодорожныхъ поѣздахъ; хотя бы и не курьерскихъ, хотя въ товарныхъ вагонахъ,—но стоитъ отдать «отъ министра распоряженіе объ ограниченной отправкѣ изъ Москвы дополнительныхъ поѣздовъ», и масса желающихъ встрѣчать и чествовать сознаетъ «безполезность попытокъ»... И распоряженіе было отдано...

Такъ «обновленная» Россія, знающая о «провозглашеніи свободы»; черезъ три четверти вѣка послѣ похоронъ Пушкина—хоронила Толстого!..

(«Русск. Вѣд.»).

Толстой и мы.

Я думаю не о немъ, а о насъ. Онъ «умеръ и въ землю зарытъ»... Для насъ наступаетъ проза жизни, мелкія непріятности, маленькія радости, и волненія и безпокойства, смѣняемыя надеждами,—все то, безъ чего невозможна жизнь и что есть жизнь. Нѣсколько засѣданій, посвященныхъ его памяти, недопущены, одно засѣданіе, добровольно закрывшееся для почтенія его памяти, встрѣтилось съ требованіемъ полицейскаго продолжать свои занятія. Все это или подобное этому было и при немъ, и даже въ тѣ минуты, когда онъ умиралъ; но среди этихъ мелочей, маленькихъ заботъ, крупныхъ, непріятностей было тогда для насъ и нѣчто другое.

Изъ длинной вереницы созданныхъ имъ и проходящихъ въ памяти образовъ невольно останавливаешься сейчасъ на тѣхъ, которые стоятъ лицомъ къ лицу со смертію. Одно чувство всего болѣе соединяетъ этихъ умирающихъ, какъ бы различны они ни были,—соединяетъ и Ивана Ильича, и князя Андрея, и барыню въ «Трехъ смертяхъ». Это—чувство одиночества, отчужденности отъ другихъ людей, сознанія, что жизнь другихъ идетъ мимо нихъ... «Никому имъ до меня дѣла нѣтъ,—думала барыня въ «Трехъ смертяхъ», — имъ хорошо, такъ и все равно»... «Въ послѣднее время того одиночества, въ которомъ онъ находился, лежа лицомъ къ спинкѣ дивана,—того одиночества, среди многолюднаго города и своихъ многочисленныхъ знакомыхъ и семьи,—одиночества, полнѣе котораго не могло быть нигдѣ, ни на днѣ моря, ни въ землѣ, въ послѣднее время этого страшнаго одиночества Иванъ Ильичъ жилъ только воображеніемъ въ прошедшемъ»...

Чувствовалъ ли Толстой такое одиночество, когда умиралъ? Къ нему стремились со всего міра мысли читающихъ людей, о немъ думали, вѣстами, объ его здоровьѣ жили милліоны. «Зачѣмъ столько заботъ объ одномъ Львѣ,—много людей на свѣтѣ»,—говорилъ онъ самъ незадолго до смерти. И несмотря на это, онъ переживалъ, конечно, минуты полнаго одиночества, того самаго сознанія отчужденія своего отъ міра и отчужденія міра отъ него, которое испытывали и барыня, въ «Трехъ смертяхъ», и Иванъ Ильичъ. И не потому, что гений всегда одинокъ, и не потому только, что, какъ говорилъ Достоевскій, «великіе

люди должны чувствовать на землѣ великую грусть», а потому, что самый искренній, самый любящій живой человѣкъ живетъ тысячею мелкихъ ощущеній и заботъ помимо мысли объ умирающемъ, потому что для этихъ мелкихъ ощущеній и заботъ взоръ умирающаго закрытъ. И теперь, когда Толстой умеръ и похороненъ, эти тысячи мелкихъ ощущеній и заботъ охватываютъ насъ, несмотря на всю нашу великую скорбь о немъ, несмотря на ясное сознание: «Нѣтъ великаго Патрокла, живъ презрительный Терситъ». Въ этомъ—жизнь, и противъ этого нелѣпо было бы возставать. Такъ было при немъ, такъ остается безъ него.

И все-таки въ нашемъ отношеніи къ жизненнымъ подробностямъ, къ маленькимъ заботамъ, въ нашемъ душевномъ обиходѣ что-то измѣнилось, и—увы!—это измѣненіе поселилось надолго, если не навсегда.

Современный человѣкъ разрывается между двумя побужденіями: побужденіемъ все сравнять, все нивелировать, принизить высокое, поднять низкое,—и другимъ, противоположнымъ побужденіемъ,—признать существованіе величія, преклониться передъ нимъ и поклониться ему, но поклониться не въ одиночествѣ, а чувствовать свою солидарность съ другимъ, знать, что большинство сосѣдей раздѣляетъ твое искреннее признаніе чужаго величія. Въ современномъ человѣкѣ эта потребность такъ же велика и непреодолима, какъ и въ человѣкѣ былыхъ временъ. Ея удовлетвореніе даетъ ему неисчислимыя радости; поднимаетъ его, какъ поднимаетъ вѣрующаго приближеніе къ божеству. Но современному человѣку все труднѣе и труднѣе удовлетворить ее. Старые кумиры низвержены; побужденіе къ нивелировкѣ противодѣйствуетъ созданію новыхъ; слишкомъ велики требованія, слишкомъ малы въ нашихъ глазахъ чужія достоинства. И такъ скучна кажется жизнь, такъ мало въ пей истиннаго величія, такой пустотой отвѣчаетъ она на неутолимую жажду высокаго, жажду преклоненія передъ достойнымъ, такъ малы кажутся претензіи на величіе, такъ разъединенными представляются люди въ обществѣ другихъ людей.

Толстой соединялъ людей,—соединялъ именно своимъ величіемъ, своей недосигаемой для другихъ громадностью. Преклоняясь передъ нимъ, ни я, ни мой сосѣдъ, ни тысячи другихъ, желающихъ созерцать величіе, не рисковали остаться въ одиночествѣ; и эта потребность сліянія съ другимъ въ одномъ чувствѣ

радости передъ высокимъ оставалась всегда при жизни Толстого. Мелкіе факты жизни разъединяли меня съ людьми, маленькія жизненныя заботы принижали меня, но, какъ поэтъ «при мысли единой», что онъ человѣкъ, всегда возвышался душою», такъ я возвышался душой и примирался съ людьми, чувствуя ихъ общность со мной въ этомъ преклоненіи передъ возвышеннымъ. Независимо отъ своего ученія о любви, независимо отъ содержания своихъ идей, стремящихся слить человѣчество въ общіе чувства, онъ объединялъ людей самымъ фактомъ своего существованія.

Я, конечно, знаю, что, если умеръ Патроклъ, то не все-же одни Терситы окружаютъ меня. Я, отдѣльный человѣкъ, могу даже признать величіе и въ комъ-нибудь другомъ, но со мной не будетъ моихъ сосѣдей. Мое чувство преклоненія и радости передъ величіемъ будетъ омрачено скептицизмомъ другихъ, ихъ холодною, ихъ насмѣшками. А современный человѣкъ, несмотря на всѣ свои заявленія объ индивидуализмѣ, жаждетъ общности не менѣе прежняго, и нераздѣленная радость для него перестанетъ быть радостью.

Со смертію Толстого современный человѣкъ сталъ бѣднѣе какъ-разъ въ той области, гдѣ онъ и безъ того бѣденъ и несчастенъ. И не изъ презрѣнія къ живымъ, а изъ желанія вновь жить одними чувствами съ современниками онъ принужденъ повторять теперь за Некрасовымъ: «Нужны намъ великія могилы, если нѣтъ величія въ живыхъ».

*И. Игнатовъ.
(«Р. В.»).*

Азбука Л. Н. Толстого въ школахъ за-границей.

(Изъ личныхъ наблюденій).

Имя великаго художника земли русской вписано огненными чертами въ скрижали русской школы. Толстой у насъ,—какъ нѣкогда Гомеръ у грековъ,—является наставникомъ людей съ ихъ дѣтства до гробовой доски, и, можетъ-быть, энтузіазмъ читателей «Войны и мира» слабъ еще по сравненію съ восторгомъ, который вызываетъ въ своей средѣ «Кавказскій плѣнникъ». Но мало кто въ Россіи знаетъ, что даже какъ учитель въ яснополянской школѣ, какъ авторъ «Новой азбуки» и «Книгъ для чте-

нія» Толстой распространилъ свое вліяніе далеко за національныя предѣлы. Судьбѣ угодно было поставить меня въ близкое отношеніе къ этому вопросу, и я считаю долгомъ въ настоящую минуту подѣлиться произведенными при этомъ наблюденіями со всѣми, кто принимаетъ близко къ сердцу успѣхи нашего роднаго языка въ міровой культурѣ.

Въ началѣ 90-хъ годовъ я приглашенъ былъ вести практическія занятія русскимъ языкомъ со студентами парижской школы восточныхъ языковъ. Съ пособіями дѣло обстояло плохо. Грамматику приходилось изучать по допотопному руководству Рейфа въ обработкѣ проф. Луи Лежэ, откуда можно было, напримѣръ, узнать, что слово «ухо» склоняется во множественномъ числѣ такъ: уши, ушей, ушамъ, уши, ухъми (а u lieu de ушами), ушахъ и т. п. Но еще больше угнетало отсутствіе подходящей книги для чтенія на первомъ курсѣ. Въ школѣ была введена одна изъ хрестоматій, изданныхъ въ Тифлисѣ для обученія русскому языку кавказскихъ инородцевъ, изъ-за того, что текстъ снабженъ былъ удареніями, безъ которыхъ сначала невозможно, конечно, обходиться и французамъ. Но чтеніе и разборъ собранныхъ тамъ отрывковъ въ аудиторіи, составленной изъ французскихъ «бакалавровъ» съ тонко развитымъ литературнымъ вкусомъ, шло въ атмосферѣ гнетущей скуки, и, позанявшись въ школѣ два семестра, я уже собирался ѣе покинуть, какъ вдругъ блеснула мысль: а что если на слѣдующій годъ повести со студентами занятія по «Книгамъ для чтенія» Толстого? Студентовъ не такъ много. Для начинающихъ ударенія можно поставить въ текстѣ отъ руки. Позже они ихъ сами будутъ ставить съ моего голоса подъ диктовку. А выгоды—онѣ такъ и бросались въ глаза.

Извѣстно, что дѣтскіе рассказы Толстого представляютъ *tour de force*, которымъ тѣмъ больше восхищаешься, чѣмъ глубже въ него вникаешь. «Новая азбука» начинается съ рассказовъ, составленныхъ лишь изъ двусложныхъ словъ; затѣмъ идутъ рассказы, составленные изъ однихъ главныхъ предложений; въ «Книгахъ для чтенія» рѣчь понемногу усложняется, но предложения, сокращенныя при помощи дѣепричастій, являются лишь къ самому концу; и, несмотря на эти наложенныя на себя авторомъ формальныя стѣсненія, рассказъ каждый разъ льется до того непринужденно и свободно, что многія изъ статей нельзя не относить прямо къ литературнымъ перламъ. Значить, къ ихъ

чтенію съ иностранцами можно приступать очень скоро, довольствуясь скромнѣйшей грамматической подготовкой, и нѣтъ опасности видѣть на лицахъ слушателей то выраженіе, какое является у русскаго студента, сѣвшаго изучать Margot. Вдобавокъ изъ разговоровъ со слушателями я зналъ, что многіе изъ нихъ и пришли въ школу, чтобы получить возможность читать въ подлинникъ прежде всего именно Толстого. Такъ пусть же Толстой съ первыхъ шаговъ и подастъ имъ руку.

Когда я подѣлился этимъ планомъ съ «патрономъ», съ проф. Бойэ, занимавшимъ въ школѣ катедру русскаго языка и читавшимъ теоретическіе курсы,—онъ проявилъ скептическое отношеніе. «Нѣтъ, вы не отдаете себѣ полнаго отчета въ томъ; до чего трудны для иностранцевъ эти съ виду такіе простенькіе тексты». Въ нихъ,—выражаясь на жаргонѣ,—«бездна языка», и, право же; «Капитанская дочка» съ ея округленною періодическою рѣчью много скорѣе становится доступна для насъ; французовъ, чѣмъ рассказы изъ «Новой азбуки», составленные изъ однихъ главныхъ предложений».—«Я все-таки рѣшилъ попробовать».—«Попробуйте и вы увидите, кто изъ насъ правъ». Проба была произведена; и обѣ стороны оказались правы.

Я приведу сначала, такъ сказать; «предѣльный» случай, который былъ у меня при обученіи русскому языку по Толстому. Ученикомъ являлся извѣстный французскій синологъ; профессоръ китайской литературы въ Collège de France Э. Шаваннь. Ради занятія монгольскими языками, необходимыми при изученіи Китая, онъ пожелалъ выучиться по-русски, такъ какъ изъ монголистовъ лучшихъ дала Россія. Большому кораблю большое и плаваніе. Въ виду особой одаренности и лингвистической подготовленности ученика я повелъ его прямо «гигантскими шагами». Одинъ урокъ (вѣрнѣе, одинъ вечеръ) на азбуку и упражненія въ произношеніи, два—на знакомство съ формами склоненій и спряженій, и затѣмъ: «Вотъ вамъ рассказъ Толстого (то была «Акула»). Попробуйте мнѣ къ слѣдующему разу его перевести».—«Но это невозможно».—«Вы только не внушайте себѣ, что это невозможно». Какъ сейчасъ вижу выраженіе лица, съ которымъ пришелъ ко мнѣ на слѣдующій разъ профессоръ. На лицѣ естественно было написано смущеніе.—«Что, не осилили?»—«Нѣтъ; то-то меня и смущаетъ, что осилилъ. Я понялъ все и думаю, что вѣрно. Но я никакъ не могу этого переварить. Мнѣ стало очевидно, что вашъ языкъ обладаетъ такою степенью ясности, которая

создаетъ ему среди языковъ совершенно исключительное положеніе. Готовъ держать пари, что нѣтъ другого языка, гдѣ послѣ такого грамматическаго приготовленія можно бы было прочесть и понять такой разсказъ».—«Одно замѣчу: кромѣ Толстого, я и на русскомъ языкѣ не укажу вамъ другихъ полутора страницъ; въ которыхъ вы были бы способны разобраться».

То, что съ профессоромъ взяло три урока, то въ школѣ со студентами брало обычно шесть или семь (при наличности серьезныхъ занятій дома), и затѣмъ мы съ успѣхомъ приступали къ чтенію Толстого. Рѣдко при этомъ приходилось исправлять какія-нибудь ошибки въ переводѣ. Чаще случалось слышать: «Я понимаю, что авторъ хочетъ сказать; но трудно передать это по-французски съ равной силой». Но какъ ни гладко шли у насъ такіе переводы, помянутое мною замѣчаніе проф. Бойэ оказалось безусловно справедливо. Даже на старшихъ курсахъ во многихъ случаяхъ, давъ вѣрный переводъ, студенты не могли произвести соотвѣтственный грамматическій анализъ строя фразы. Мнѣ скоро стало ясно, что при обученіи языку на толстовскихъ текстахъ дѣло идетъ тѣмъ же приблизительно путемъ; какимъ выучивается, напримѣръ, простой мастеровой, котораго судьба забросила работать на чужбинѣ. Зная предметъ, зная приемы ремесла, онъ при работѣ въ чужеземной мастерской неогрѣшимо устанавливаетъ, что такіе-то слова могутъ имѣть только одно значеніе, и такъ онъ быстро овладѣваетъ необходимой для него обиходной рѣчью. Подобнымъ «предметнымъ» способомъ вводили студентовъ въ тайны русскаго языка и толстовскіе разсказы. Мощь, съ какой онъ заставляетъ всякаго своего читателя присутствовать при томъ, о чемъ авторъ захотѣлъ вести бесѣду, давала ученикамъ возможность, переводя его еще «по смыслу», почти-что никогда не ошибаться въ смыслѣ. А такъ какъ живому языку и надо начинать учиться въ языкѣ, а не на основѣ грамматическихъ абстракцій, то «Книги для чтенія» скоро получили права полного гражданства въ школѣ.

Мнѣ не пришлось разочароваться и въ другой надеждѣ,—что слушатели сумѣютъ оцѣнить художественную сторону этой дѣтской литературы. Диктую,—чтобы ограничиться однимъ примѣромъ,—на второмъ курсѣ разсказъ «Какъ я въ первый разъ убилъ зайца», не называя имени его автора. Конченъ диктантъ. и изъ аудиторіи раздается: «Ah, que c'est beau! Que c'est admirablement bien raconté! De qui est cela?» И одобритель-

ный ропотъ при отвѣтѣ: «Это—изъ «Книгъ для чтенія» графа Льва Толстого!».

Зато для одного вида элементарныхъ упражненій толстовскіе рассказы оказались совершенно непригодны. Они не допускаютъ пересказа. Когда я пробовалъ было на старшихъ курсахъ пользоваться ими въ этихъ цѣляхъ, студенты повторяли ихъ почти что слово въ слово, и на мои упреки, что въ этомъ видѣ упражненіе не достигаетъ цѣли, мнѣ приходилось постоянно выслушивать одинъ отвѣтъ: «Мы, право, не учили наизусть. Тутъ что то странное, рассказъ прочитаешь внимательно два раза,—и онъ укладывается въ памяти до послѣдней буквы. А когда помнишь, какъ это сказано, то портить рассказъ своими словами невозможно». И я не сталъ настаивать, почувствовавъ, что «пересказъ» Толстого дѣйствительно похожъ на литературное кощунство.

Дѣло однако не ограничилось лишь этимъ личнымъ моимъ. Тутъ что то странное рассказъ прочтешь внимательно два раза, Бойе, что въ нашемъ старомъ спорѣ мы оба оказались правы, мы сообща рѣшили составить руководство, построенное всецѣло на толстовскихъ текстахъ,—отъ «Новой азбуки» до строго литературной повѣсти «Три смерти»,—но съ полнымъ комментариемъ, который вскрывалъ бы и всю ту «бездну языка», какая здѣсь таится. Такъ съ вѣдома, съ согласія и даже при нѣкоторыхъ указаніяхъ самого Льва Николаевича и возникъ изданный нами въ 1904 г. Manuel pour l'étude de la langue Russe, причемъ американскій переводъ его появился одновременно съ французскимъ оригиналомъ. Теплый пріемъ, оказанный со стороны критики этому руководству, показалъ, что она сумѣла оцѣнить качество яснополянскихъ бездѣлушекъ, выточенныхъ рукою величайшаго мастера русской литературы, и можно думать, что еще долго по ту и по сю сторону океана, для многихъ иностранцевъ, стремящихся къ духовному сближенію съ Россіей, Толстой будетъ являться въ познаніи нашей родины и альфой и омегой.

Н. Сперанскій.

(«Р. В.»)

Толстой и Эдиссонъ.

Конецъ 1908 и весь 1909 г. я провелъ въ Америкѣ; живя преимущественно въ Нью-Йоркѣ; наблюдая съ большимъ интересомъ за жизнью окружавшей меня среды, я могъ въ совершенствѣ изучить «американца», этого «business man'a» заатлантического материка; для котораго, казалось бы, ничего, кромѣ спекуляцій, не существуетъ. Въ разговорѣ со мной онъ, если и не вдавался въ подробный разборъ безсмертныхъ твореній Толстого «Война и миръ» и «Анна Каренина»,—однако, всегда старался говорить о великомъ писателѣ, его произведеніяхъ; мнѣніи русской интеллигенціи о немъ, какъ о воспитателѣ чело-вѣчества; и иногда подробно останавливался на письмѣ графини С. А.; писанномъ святѣйшему синоду въ 1901 г.

Такой интересъ удивлялъ меня тѣмъ болѣе, что эти мои собесѣдники не только были незнакомы съ европейской литерату-рой вообще, но врядъ ли знали и своего Марка Твэна, какъ слѣдуетъ. И при всемъ томъ, какъ бы забывая своего кумира, они съ видимымъ воодушевленіемъ говорили о Толстомъ...

Эта популярность нашего писателя въ Америкѣ создалась не столько его произведеніями, сколько молвой, молвой народ-ной, передаваемой изъ устъ въ уста. Быть можетъ, именно это не-соотвѣтствіе ученія Л. Н. Толстого всему духу жизни амери-канца и породило такой интересъ къ личности графа. Какъ бы то ни было, но его, несомнѣнно, знаютъ всѣ,—о немъ говорятъ, какъ объ «апостолѣ чело-вѣчества».

Есть въ такъ называемомъ «down town'ѣ Нью-Йорка банкир-ская и нотаріальная контора Н. Я. Борисова. Бывая еженедѣльно въ конторѣ по своимъ дѣламъ, я часто встрѣчался тамъ съ на-шими мужичками, пріѣзжавшими въ Америку «попытать сча-стья».

Однажды являются два парня; старшему изъ нихъ было лѣтъ 20, второму 16. Одѣты они были не то въ пальто; не то въ «спин-жакъ»; подпоясанный ремнемъ; на ногахъ сапоги желтой кожи; какъ у новобранцевъ; на головахъ картузы.

Войдя въ контору, они стали искать глазами образъ; затѣмъ перекрестились и отвѣсили по поклону въ поясъ каждому изъ находившихся въ комнатѣ; снявъ затѣмъ съ плечъ свои не-большіе деревянные сундуки, они сѣли. «Вы откуда?»—спра-

пиваетъ Борисовъ. «Съ парохода, ваше сіятельство!»—«Что же вы хотите?»—«Да вотъ на заработки, значить, пріѣхали».—«Кто же васъ звалъ сюда? Есть у васъ родственники?»—«Нѣтъ, ваше-ство, сродня-то въ Россіѣ вся».—«Есть у васъ деньги?»—«Да, по рублю на брата имѣется».—«Какъ же вы порѣшили ѣхать сюда? Работы вамъ здѣсь не найти; вы будете голодать!»—«Мы къ вашей милости,—а тамъ, какъ вамъ будетъ угодно».—«Да у меня нѣтъ никакой работы для васъ».—«Воля ваша, мы къ вашей милости».—Послали за хлѣбомъ, колбасой и помѣстили ихъ въ складѣ конторы, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣться дня за 2—3 и, если не удастся пристроить ихъ гдѣ-либо, то похлопотать объ обратномъ перевозѣ ихъ въ Россію. На слѣдующій день приходитъ въ контору старшій и проситъ написать адресъ на конвертѣ въ Россію, графу Толстому; письмо его было написано за ночь, и мы отправили его въ Ясную Поляну, не зная его содержания.

Прошло еще дня два. Старшаго удалось устроить въ сапожную мастерскую на жалованье пять долларовъ въ мѣсяцъ. Спали они при конторѣ; перебивались, какъ могли, съ помощью ценовыхъ подмогъ окружающихъ.

Такъ прошло недѣль пять.

Однажды къ конторѣ подкатилъ автомобиль, и изъ него вышелъ господинъ, осмотрѣлъ снаружи контору, и спросилъ Борисова.

«Я Эдиссонъ,—представился онъ,—и хочу видѣть двухъ молодыхъ людей, пріѣхавшихъ изъ Россіи мѣсяца полтора назадъ». При этомъ онъ показалъ намъ письмо на англійскомъ языкѣ, состоявшее всего изъ нѣсколькихъ словъ: «Нью-Йоркъ. Эдиссону.—Не откажите помочь моимъ двумъ молодымъ соотечественникамъ, живущимъ по такому-то адресу. Левъ Толстой».

Эдиссонъ забралъ обоихъ парней съ ихъ жалкимъ скарбомъ на свой автомобиль, а черезъ мѣсяца два я встрѣтилъ старшаго ихъ нихъ. Онъ точно преобразился: по внѣшности казался истымъ американцемъ и производилъ впечатлѣніе челоуѣка, вполне довольнаго своей судьбой. Оказалось, что онъ и его товарищъ работали на фабрикѣ у Эдиссона и получали до 25 долларовъ въ недѣлю.

Германъ Меффертъ.

(«Рѣчь»).

Отрывки изъ біографіи Л. Н. Толстого.

Семейное счастье.

Прежде, чѣмъ коснуться женитьбы Л. Н., мы остановимся на любопытномъ и малоизвѣстномъ романѣ, пережитомъ Львомъ Николаевичемъ. Мы говорили объ его увлеченіи В. А. Этотъ эпизодъ послужилъ для Л. Н. канвой для его небольшого романа «Семейное счастье».

В. А. принадлежала къ великосвѣтской семьѣ одного изъ сосѣднихъ помѣщиковъ.

Съ возвращеніемъ домой, онъ подумываетъ о женитьбѣ. В. А. производитъ на него впечатлѣніе. Онъ мечтаетъ о бракѣ. Правда, В. А. немного легкомысленна, увлекается балами. Но Л. Н. не теряетъ надежды внушить ей серьезный взглядъ на жизнь. Письма его къ В. А. дышутъ самой нѣжной заботливостью о ея развитіи. Временами на него нападаетъ раздумье. Онъ уѣзжаетъ на два мѣсяца въ Петербургъ, чтобы провѣрить силу своего чувства разлукой. Тутъ Л. Н. представилось новое испытаніе: В. А. влюбилась въ своего учителя музыки. Л. Н. пишетъ ей въ тонѣ горькаго упрека. Но онъ не хочетъ порвать съ ней разомъ. Переписка продолжается. Увлеченіе молодымъ музыкантомъ у В. А. прошло. Снова между Л. Н. и В. А. возникаютъ нѣжныя отношенія. Но это только напускное. Рана еще не зажила. Глубже заглядывая въ себя, Л. Н. въ письмѣ къ теткѣ признается, что онъ В. А. не любитъ. Письма къ В. А. становятся все болѣе разсудочными. Уѣзжая за границу, Л. Н. пишетъ В. А. послѣднее письмо, въ которомъ говоритъ о своемъ чувствѣ, какъ о чемъ-то прошломъ, благодарить за дружбу и желаетъ всякаго счастья.

Такъ кончился этотъ короткій романъ Л. Н.—ча.

Ж е н и т ь б а.

Семейство доктора Берсъ Толстой зналъ давно и будущей своей женой любовался, какъ веселой и смышленной дѣвочкой.

Послѣ своихъ неудачъ на педагогическомъ поприщѣ, о которыхъ онъ говорить въ «Исповѣди», онъ сталъ тяготѣть къ неизвѣстной еще сторонѣ жизни, обѣщавшей ему спасеніе—къ семейной жизни.

Въ семействѣ Берсъ его притягивала младшая сестра—Софья Андреевна.

Въ Ивицахъ, имѣніи Берсовъ, произошло объясненіе. Здѣсь разыгралась сцена, совпадающая съ той, которая описана въ «Аннѣ Карениной»; когда Левинъ пишетъ на столѣ свое объясненіе въ любви одними начальными буквами, и Китти сразу угадываетъ его.

Фразы, которыми обмѣнялись Левъ Николаевичъ и Софья Андреевна и которыя были написаны одними начальными буквами, были слѣдующія:

В. В. с. с. л. в. н. м. и н. В. с. Л. р. е. В. с. Т.

Это означало: Въ вашемъ семействѣ существуетъ ложный взглядъ на меня и на вашу сестру Лизу; разрушьте его вы съ Таничкой.

Софья Андреевна отгадала эту фразу и дала утвердительный знакъ.

Тогда онъ написалъ еще:

В. м. и п. с. с. ж. н. н. м. м. с. и н. с.

Что означало: Ваша молодость и потребность счастья слишкомъ живо напоминаютъ нынче мнѣ мою старость и невозможность счастья.

Больше между ними ничего не было сказано, они понимали и были увѣрены другъ въ другѣ.

Старикъ-Берсъ былъ непріятно удивленъ тѣмъ, что предложеніе сдѣлано младшей, а не старшей сестрѣ, но настойчивость Л. Н. и С. А. заставила отца выразить согласіе.

Очень характерны записи въ дневникѣ, относящіяся къ этому времени. Проскальзываетъ колебаніе, и очень недвусмысленно. Напримѣръ: «Всталъ съ привычной грустью. Придумалъ общество для учениковъ мастерскихъ. Сладкая, успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о бракѣ, твое призваніе другое, и дано зато много».

Передъ свадьбой Л. Н. далъ невѣстѣ почитать свой дневникъ, гдѣ были записаны всѣ увлеченія молодости, всѣ паденія и всѣ душевныя бури, имъ пережитыя. «Чтеніе этого дневника,—говоритъ Бирюковъ,—было ударомъ для молодой дѣвушки».

Вѣнчались черезъ недѣлю послѣ предложенія, въ Кремлѣ, въ придворной церкви.

Вскорѣ послѣ женитьбы Левъ Николаевичъ писалъ Фету: «Я двѣ недѣли женатъ и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ».

Послѣ женитьбы.

Годы безмятежнаго счастья смѣняются одинъ другимъ. Л. Н. живетъ въ Ясной Полянѣ, усиленно занимается хозяйствомъ, воспитаніемъ дѣтей, иногда охотой. Идетъ довольно оживленная переписка съ Фетомъ, навѣщающимъ своихъ друзей въ Ясной Полянѣ. Бури, раздиравшія душу Толстого, какъ будто улеглись. Сомнѣнія, тревожившія его, оставили его какъ будто въ покоѣ. Онъ много посвящаетъ времени литературѣ. Въ 1863 г. выходятъ въ свѣтъ «Казакъ», потомъ «Поликушка». Въ 1864 г. у Толстого готова уже первая часть «Войны и мира». Будущій взглядъ Л. Н. на искусство угадывается въ мнѣніи его о «Казакахъ» и «Поликушкѣ», противоположномъ мнѣнію Тургенева. Толстой считаетъ «Поликушку» болтовней и за первую попавшуюся тему, Тургеневъ—въ восторгѣ отъ этого разсказа и считаетъ его вещью страшно сильной. «Казакъ» кажутся Толстому съ «сукровицей», т.-е. съ идейной начинкой, а Тургеневъ пишетъ объ этой «сукровицѣ» «Казаковъ» Фету: «... не было никакой нужды выводить это возящееся съ самимъ собою скучное существо (Олевина). Какъ это Толстой не сброситъ съ себя этотъ кошмаръ?»

«Война и миръ».

«Какъ ни странно это сказать,—говоритъ Бирюковъ,—это великое произведеніе явилось на свѣтъ какъ бы случайно или, выражаясь юридическимъ языкомъ, «безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія». Дѣйствительно, Л. Н. задумалъ написать романъ изъ жизни декабристовъ и частью, какъ извѣстно, осуществилъ это намѣреніе. Изучая эпоху декабристовъ, онъ невольно долженъ

былъ заинтересоваться эпохой, которая сдѣлала возможнымъ ихъ появленіе. Такъ перешелъ онъ къ отечественной войнѣ. 19-го марта 1865 г. (когда, впрочемъ, часть «Войны и мира» была уже написана) Л. Н. заноситъ въ дневникъ: «Я зачитался исторіей Александра и Наполеона. Сейчасъ меня облакомъ радости, сознанія возможности сдѣлать великую вещь охватила мысль написать психологическую исторію: романъ Александра и Наполеона»...

Писаніе «Войны и мира» продолжалось болѣе 5-ти лѣтъ. Романъ переписывался семь разъ, и каждый разъ съ передѣлками. Л. Н. ѣздилъ на Бородинское поле и цѣлые дни проводилъ въ Румянцевскомъ музеѣ, роаясь въ архивахъ, описываемаго имъ времени, изучая масонскія книги и рукописи. «Вездѣ, гдѣ въ моемъ романѣ говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица,—говоритъ Л. Н.—я не выдумывалъ, и пользовался матеріалами, изъ которыхъ у меня во время моей работы образовалась цѣлая бібліотека книгъ»...

Многіе типы «Войны и мира» являются, по словамъ Бирюкова, портретами, списанными съ натуры послѣ серьезнаго и глубокаго изученія источниковъ. Таковъ Долоховъ, прототипомъ, которому послужилъ извѣстный партизанъ Фигнеръ, таковъ капитанъ Тушинъ—въ жизни штабсъ-капитанъ Судаковъ. О Наташѣ Л. Н. говоритъ: «Я взялъ Таню (Т. А. Берсъ), перетолокъ ее съ Соней (Софьей Андреевной), вышла Наташа».

Первый томъ «Войны и мира» появился въ отдѣльномъ изданіи въ 1868 г., послѣдній—въ 1869 г. Черновая рукопись романа, писанная рукой Л. Н., хранится въ московскомъ историческомъ музеѣ. Съ конца 70-хъ годовъ «Войну и миръ» стали переводить на иностранные языки.

Семейная жизнь.

Семейная жизнь Л. Н. текла счастливо и безмятежно. Послѣ Сережи, въ маѣ 1866 г. родился сынъ Илья, за нимъ послѣдовалъ въ маѣ же 1869 г. третій сынъ Левъ. Л. Н. много занимается хозяйствомъ, искренно имъ увлекаясь; и много пишетъ. Характерно, что съ 1-го ноября 1865 г. Л. Н. прекращаетъ свой дневникъ и дѣлаетъ перерывъ на цѣлыхъ 13 лѣтъ. Л. Н. много читаетъ. Отъ 30 авг. 1869 г. онъ пишетъ Фету: «Знаете ли, что было для меня нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шо-

пенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ. Я выписалъ все его сочиненія и читалъ и читаю (прочелъ и Канта). И вѣрно ни одинъ студентъ въ свой курсъ не научился такъ много и столь многого не узналъ, какъ я въ нынѣшнее лѣто. Не знаю, перемѣню ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ гениальнѣйшій изъ людей»...

Казнь Шибунина.

Лѣтомъ 1866 г. два молодыхъ офицера пріѣхали въ Ясную Поляну съ просьбою къ Л. Н. принять на себя защиту рядового Шибунина, преданнаго военно-полевному суду по обвиненію въ оскорбленіи дѣйствіемъ своего начальника. Шибунинъ былъ странный человекъ. Незаконный сынъ какого-то важнаго лица, онъ отданъ былъ на воспитаніе въ деревню. 24-хъ лѣтъ онъ поступилъ въ солдаты охотникомъ, т.-е. нанялся за другого рекрута. Онъ зналъ наизусть евангеліе, считалъ себя обиженнымъ судьбой и достойнымъ лучшей доли. Въ свободное время онъ либо читалъ евангеліе, либо лежалъ на кровати, пилъ водку и мечталъ о своемъ «отцѣ». Какъ-то у него вышло столкновение, изъ-за неправильно написаннаго рапорта, съ ротнымъ командиромъ, академистомъ изъ поляковъ. Шибунинъ, совершенно пьяный, наговорилъ офицеру дерзостей. Тотъ отдалъ фельдфебелю приказъ:

— Приготовить розги!

Не помня себя, Шибунинъ подошелъ на улицѣ къ офицеру и далъ ему пощечину.

Судъ вынесъ приговоръ: смертная казнь. Л. Н. телеграфировалъ своей теткѣ, придворной дамѣ гр. А. А. Толстой, умоляя ее ходатайствовать за Шибунина передъ военнымъ министромъ. Это не попомогло, и 9-го августа Шибунина разстрѣляли.

...«Да, этотъ случай имѣлъ на меня огромное, благотворное вліяніе,—писалъ Л. Н. Бирюкову отъ 25 мая 1908 г.—на этомъ случаѣ я въ первый разъ почувствовалъ: первое—то, что каждое насиліе для своего исполненія предполагаетъ убійство или угрозу и что поэтому всякое насиліе неизбежно связано съ убійствомъ; второе—то, что государственное устройство, немыслимое безъ убійствъ, несовмѣстимо съ христіанствомъ и третье, что то, что у насъ называется наукой, есть только такое

же лживое оправданіе существующаго зла, какимъ было прежде церковное ученіе. Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознаніе той неправды, среди которой шла моя жизнь».

Г о л о д ъ.

Въ 1871 г., разстроивъ свое здоровье занятіями греческимъ языкомъ, которымъ Л. Н. увлекся до самозабвенія, Л. Н. ѣдетъ на кумысь въ Самарскую губ. Онъ прибрѣтаетъ тамъ хуторъ, и въ 1873 г. въ Самарскую губернію ѣдетъ уже вся семья. 1871 и 1872 гг. были неурожайными, а въ 1873 г. губернію охватилъ настоящій голодъ. Къ этому времени относится знаменитое толстовское «Письмо къ издателямъ» (газ. «Моск. Вѣд.»), въ которомъ онъ призываетъ русское общество на помощь голодающимъ крестьянамъ. Письмо великаго писателя произвело огромное впечатлѣніе. «Корреспонденція гр. Толстого,—говоритъ Пругавинъ,—была громомъ, заставившимъ всѣхъ перекреститься». Благодаря письму Толстого, въ пользу населенія Самарской губерніи было собрано до 1.887.000 руб. деньгами и до 21.000 п. хлѣба.

Но Л. Н. не ограничился составленіемъ и посылкой письма. Онъ принялъ личное, непосредственное участіе въ помощи голодающимъ. Онъ лично обходилъ дворы, снабжалъ бѣдняковъ хлѣбомъ и деньгами.

Въ 74-мъ и 75-мъ году Л. Н. снова проводитъ лѣто въ Самарѣ. «Къ чему занесла меня судьба туда (въ Самару),—не знаю,—пишетъ Л. Н. Фету.—Я слышалъ рѣчи въ англійскомъ парламентѣ (вѣдь это считается очень важнымъ), и мнѣ скучно и ничтожно было. Но что тамъ? Мухи, нечистота, мужики, башкирцы... а я съ напряженнымъ уваженіемъ, страхомъ вслушиваюсь; вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно».

(«Прѣчь»).

Забытыя странички Л. Н. Толстого.

До сихъ поръ мы не можемъ похвалиться ни однимъ абсолютно полнымъ и исправнымъ изданіемъ какого бы то ни было изъ нашихъ классиковъ, до сихъ поръ мы не научились у нашихъ западныхъ сосѣдей, какъ нужно издавать писателей. Даже въ лучшихъ изданіяхъ у насъ наблюдается это общее явленіе—искаженіе текста и небрежность редакціи. Эта истина относится и къ Толстому.

Богъ вѣсть, когда появится у насъ полное и авторитетное изданіе его произведеній. Проскальзывали, правда, въ печати слухи о переговорахъ графини С. А. Толстой съ нѣкоторыми столичными издателями, но, говорятъ, дѣло заглохло. Во всякомъ случаѣ сейчасъ мы не имѣемъ не только исправнаго толстовскаго текста, но въ самой редакціи той лучшей части его сочиненій, которую издала его семья, сдѣланы серьезныя ошибки. Такъ, недавно лишь, разбирая бумаги Льва Николаевича, графиня С. А. Толстая нашла среди нихъ рукопись «Дѣтства, отрочества, и юности», которую самъ великій писатель предпочиталъ печатному тексту. Трудно сказать, почему очаровательная хроника давно не была опубликована въ исправленномъ видѣ.

Точно такъ же трудно объяснить промахъ, благодаря которому изъ собранія сочиненій нашего великаго писателя выпала одна изъ его лучшихъ лирическихъ страницъ. Къ счастью, она сохранилась въ одномъ основательно забытомъ альманахѣ. Для огромнаго большинства читателей она будетъ совершенною новинкой, но наша цѣль не только передать ее читателямъ, но и напомнить о ней тѣмъ, на чью долю выпадетъ честь и забота подготовки полнаго собранія сочиненій Толстого.

Эта страница представляетъ собою окончаніе помѣщаемой во II томѣ сочиненій Толстого повѣсти «Записки маркера». Впервые повѣсть была напечатана Некрасовымъ въ январской кни-

гѣ «Современника» 1855 г., еще при николаевской цензурѣ, и въ этомъ же видѣ входитъ въ упомянутое собраніе и читается теперь. Оказывается, что читатель нашихъ дней знакомъ съ нею въ томъ видѣ, въ какомъ она прошла сквозь суровую цензуру послѣднихъ дней николаевскаго царствованія, со всѣми искаженіями и урѣзками, учиненными «страха ради іудейска». Черезъ нѣсколько недѣль послѣ появленія этой книжки «Современника» не стало Николая I, повѣяло весной, и цензурныя строгости пошли на убыль. Некрасовъ воспользовался благодѣтельной переменой и въ слѣдующемъ году снова напечаталъ «Записки маркера» во второмъ томѣ своего сборника «Для легкаго чтенія».

Сличая тексты «Современника» и альманаха, обнаруживаешь, помимо мелкихъ отличій, свидѣтельствующихъ о непонятной нашему времени придирчивости и подозрительности цензуры, отсутствіе въ текстѣ журнала почти цѣлой страницы. И между тѣмъ именно этотъ текстъ принятъ собраніями сочиненій, со всѣми пропусками и искаженіями, а подлинный и полный текстъ игнорированъ! И особенно искажено лучшее мѣсто «Записокъ маркера», ихъ конецъ, предсмертное письмо несчастнаго самоубійцы Нехлюдова. Въ «Современникѣ» и въ собраніи сочиненій письмо испещрено многоточіями и тире, обозначающими пропуски, которые всѣ возстановлены въ некрасовскомъ сборникѣ. Этотъ искренній вопль судящей себя совѣсти такъ удался великому «поэту совѣсти», страница эта такъ краснорѣчива и художественна, такъ бьетъ по сердцу, что читатель не посѣтуетъ на насъ, если мы, не желая разрушить цѣльность впечатлѣнія, воспроизведемъ не одни только пропуски, составляющіе половину письма, а все письмо цѣликомъ.

«Богъ далъ мнѣ все, чего можетъ желать человѣкъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотѣлъ наслаждаться и затопталъ въ грязь все, что было во мнѣ хорошаго.

«Я не обезчещенъ, не несчастенъ, не сдѣлалъ никакого преступленія; но я сдѣлалъ хуже: я убилъ свои чувства, свой умъ, свою молодость.

«Я опутанъ грязной сѣтью, изъ которой не могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Я безпрестанно падаю, падаю, чувствую свое паденіе—и не могу остановиться.

«Мнѣ легче бы было быть обезчещеннымъ, несчастнымъ или преступнымъ: тогда было бы какое-то утѣшительное, утрюмое величіе въ моемъ отчаяніи. Ежели бы я былъ обезчещенъ, я

бы могъ подняться выше понятій чести нашего общества и презирать его. Ежели бы я былъ несчастливъ, я бы могъ роптать. Ежели бы я сдѣлалъ преступленіе, я бы могъ раскаяніемъ или наказаніемъ искупить его; но я просто низко, гадо, знаю это—и не могу подняться.

«И что погубило меня? Была ли во мнѣ какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нѣтъ.

«Семерка, тузъ, шампанское, желтый въ серединѣ, мѣлъ, сѣренькія, радужныя бумажки, папиросы, продажныя женщины—вотъ мои воспоминанія.

«Одна ужасная минута, забвенія, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидѣлъ, какая неизмѣримая пропасть отдѣляла меня отъ того, чѣмъ я хотѣлъ и могъ быть. Въ моемъ воображеніи возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Гдѣ тѣ свѣтлыя мысли о жизни, о вѣчности, о Богѣ, которыя съ такою ясностью и силой наполняли мою душу. Гдѣ надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному, любовь къ роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, къ славѣ? гдѣ понятіе объ обязанности?

«Меня оскорбили—я вызвалъ на дуэль и думалъ, что вполне удовлетворилъ требованіямъ благородства. Мнѣ нужны были деньги для удовлетворенія своихъ пороковъ и тщеславія—раззорилъ тысячи семействъ, ввѣренныхъ мнѣ Богомъ, и сдѣлалъ это безъ стыда,—я, который такъ хорошо понималъ эти звященныя обязанности. Безчестный человѣкъ сказалъ мнѣ, что у меня нѣтъ совѣсти, что я хочу красть—и я остался его другомъ, потому что онъ безчестный человѣкъ и сказалъ мнѣ, что онъ не хотѣлъ меня обидѣть. Мнѣ сказали, что смѣшно жить скромникомъ—и я отдалъ безъ сожалѣнія цвѣтъ своей души—невинность—продажной женщинѣ. Да, никакой убитой части моей души мнѣ такъ не жалко, какъ любви, къ которой я такъ былъ способенъ. Боже мой! любилъ ли хоть одинъ человѣкъ такъ, какъ я любилъ, когда еще не зналъ женщинъ. А какъ бы я могъ быть хорошъ и счастливъ, ежели бы шелъ по той дорогѣ, которую, вступая въ жизнь, открыли мой свѣжій умъ и дѣтское, истинное чувство! Не разъ пробовалъ я выйти изъ грязной колеи, по которой шла моя жизнь, на эту свѣтлую дорогу. Я говорилъ себѣ: употреблю все, что есть у меня воли—и не могъ. Когда я оставался одинъ, мнѣ становилось неловко и страшно съ самимъ со-

бой. Когда я былъ съ другимъ, я забывалъ невольнo свои убѣжденія, не слыхалъ болѣе внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконецъ, я дошелъ до страшнаго убѣжденія, что не могу подняться, пересталъ думать объ этомъ и хотѣлъ забыться; но безнадежное раскаяніе еще сильнѣе тревожило меня. Тогда мнѣ въ первый разъ пришла страшная для другихъ и отрадная для меня мысль о самоубійствѣ.

«Но и въ этомъ отношеніи я былъ низокъ и подлъ. Только вчерашняя глупая исторія съ гусаромъ дала мнѣ довольно рѣшимости, чтобы исполнить свое намѣреніе. Во мнѣ не осталось ничего благороднаго—одно тщеславіе, и изъ тщеславія я дѣлаю единственный хорошій поступокъ въ моей жизни.

«Я думалъ прежде, что близость смерти возвыситъ мою душу. Я ошибался. Черезъ четверть часа меня не будетъ, а взглядъ мой нисколько не измѣнился. Я такъ же вижу, такъ же слышу, такъ же думаю; та же странная непослѣдовательность; слабость и легкость въ мысляхъ, столь противоположная тому единству и ясности, которыя, Богъ знаетъ зачѣмъ, дано воображать человѣку. Мысли о томъ, что будетъ за гробомъ, и какіе толки будутъ завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, съ одинаковой силой представляются моему уму.

«Непостижимое созданіе человѣкъ!»

Николаевская цензура не пощадила горькаго приговора, который выноситъ Нехлюдовъ обществу за его понятіе о чести, себѣ самому за притѣсненіе крѣпостныхъ крестьянъ,—и испортила одну изъ лучшихъ страницъ Толстого. Искаженіе въ нынѣшнихъ изданіяхъ этой исповѣди—существенный пробѣлъ, который принижаетъ значеніе прекрасной повѣсти. Съ тѣхъ поръ, какъ она написана, минуло пятьдесятъ шесть лѣтъ, и много чудныхъ твореній создалъ въ это время нашъ великій писатель. Но по покоряющей прелести лиризма, по высокому нравственному смыслу предсмертное письмо Нехлюдова—одна изъ вершинъ творчества Л. Н. Толстого.

(«Речь»).

Два закона.

Неизданный рассказ Л. Н. Толстого.

Въ губернскомъ городѣ засѣдаетъ военный судъ. Стоитъ столъ, на столѣ зеркало съ двухглавымъ орломъ, наверху и печатными словами внизу, лежатъ книги законовъ, аккуратно сложенные, цѣльные исписанные листы бумагъ съ печатными заголовками. За столомъ на первомъ мѣстѣ сидитъ, въ военномъ мундирѣ съ галунами и крестомъ на шеѣ, плотный человѣкъ съ лицомъ умнымъ, выражающимъ добродушіе, особенно умиленное теперь тѣмъ, что онъ только-что хорошо позавтракалъ и получилъ успокоительное извѣстіе о здоровьѣ меньшого ребенка. Рядомъ съ нимъ другой офицеръ нѣмецкаго происхожденія, недовольный своимъ назначеніемъ и обдумывающій теперь тотъ рапортъ, который онъ подастъ начальнику. На третьемъ мѣстѣ совсѣмъ молодой офицеръ, щеголь и весельчакъ, только-что отпустившій за завтракомъ у полковника остроумную шутку, развеселившую всѣхъ. Онъ вспоминаетъ теперь эту шутку и чуть замѣтно улыбается. Ему страшно хочется курить, и онъ съ нетерпѣніемъ ждетъ перерыва. За отдѣльнымъ столикомъ сидитъ секретарь. Передъ нимъ куча бумагъ, и онъ весь поглощенъ заботами о томъ, чтобы быть готовымъ по первому требованію начальства подать требуемую бумагу.

Два молодыхъ человѣка: одинъ крестьянинъ пензенской губерніи, другой мѣщанинъ города Любима, одѣтые въ солдатскую одежду, вводятъ третьяго, совсѣмъ молодого человѣка, одѣтаго тоже въ солдатскую шинель.

Молодой человѣкъ этотъ блѣденъ, онъ только разъ взглянулъ на судъ и сосредоточенно смотритъ передъ собою. Молодой человѣкъ этотъ уже три года просидѣлъ въ тюрьмѣ за отказъ отъ присяги и военной службы.

Чтобы избавиться отъ него, послѣ трехъ лѣтъ тюрьмы ему предложили присягнуть, и тогда онъ, какъ солдатъ, пробывшій

три года на службѣ, хотя и въ тюрьмѣ, могъ бы быть отпущенъ. Но молодой человѣкъ и въ церкви сказалъ то же, что онъ говорилъ при приѣмѣ, что онъ, какъ христіанинъ, не можетъ присягать. Теперь его судятъ за этотъ новый отказъ.

Секретарь читаетъ бумагу, называемую обвинительнымъ актомъ. Въ немъ, говорится о томъ, что молодой человѣкъ отказался получать жалованіе и считаетъ военную службу грѣхомъ. Добродушный предсѣдатель спрашиваетъ:

— Признаешь ли ты себя виновнымъ?

— Все, что сказано тутъ, все это я дѣлалъ и говорилъ, но виновнымъ себя не признаю,—запинаясь и съ дрожью въ голосѣ говорить молодой человѣкъ.

Предсѣдатель киваетъ головой въ знакъ того, что отвѣтъ въ порядкѣ, заглядываетъ въ бумагу и спрашиваетъ:

— Что ты можешь сказать въ объясненіе своего отказа?

— Отказался я и отказываюсь потому, что считаю присягу грѣхомъ (онъ запинается)... противнымъ ученію Христа.

Предсѣдатель удовлетворенъ этимъ и одобрительно киваетъ головой. Все въ порядкѣ.

— Не имѣешь ли ты еще чего заявить?

Молодой человѣкъ, съ дрожащей нижней челюстью, говорить о томъ, что въ Евангеліи сказано, что запрещено всякое недоброе чувство къ брату.

Предсѣдатель одобряетъ и это. Нѣмецъ недовольно хмурится. Молодой офицеръ, поднявъ голову и брови, внимательно слушаетъ, какъ что-то новое и интересное.

Обвиняемый, все болѣе и болѣе волнуясь, говорить о томъ, что клятва прямо запрещена, что онъ считалъ бы себя виноватымъ, если бы не отказался, что онъ и теперь готовъ...

Предсѣдатель останавливаетъ его, такъ какъ находитъ, что подсудимый говорить уже неподходящее къ дѣлу и потому ненужное. Послѣ этого вызываются свидѣтели. Свидѣтели—командиръ полка и фельдфебель. Командиръ полка, обычный партнеръ предсѣдателя въ винтъ и великій охотникъ и мастеръ игры, и фельдфебель, ловкій, красивый, услужливый полякъ-шляхтичъ, большой охотникъ до чтенія романовъ. Входитъ и священникъ, пожилой человѣкъ; только что проводившій свою дочь съ зятемъ и внукомъ, пріѣзжавшихъ къ нему въ гости, и разстроенный столкновеніемъ съ матушкой изъ-за того, что онъ отдалъ дочери коверъ, который матушка не желала отдавать.

— Потрудитесь, батюшка, привести къ присягѣ свидѣтелей и сдѣлать напоминаніе о грѣхѣхъ передъ Богомъ за неправильное показаніе, — обращается предсѣдатель къ священнику.

Батюшка надѣваетъ эпитрахиль, беретъ крестъ и Евангеліе и говоритъ привычныя слова увѣщанія. Потомъ приводитъ къ присягѣ полковника. Полковникъ, быстрымъ движеніемъ поднявъ два чистыхъ пальца, которые такъ хорошо знаетъ предсѣдатель, слѣдя за ними во время карточной игры, проговаривая за священникомъ слова присяги и чмокая, цѣлуетъ; какъ будто съ удовольствіемъ, крестъ и Евангеліе.

Вслѣдъ за полковникомъ входитъ и католическій священникъ и такъ же скоро приводитъ къ присягѣ красавца-фельдфебеля. Судьи серьезно и спокойно дожидаются. Молодой офицеръ, вышель, затаился и вернулся къ показанію свидѣтелей. Свидѣтели показываютъ то самое, что говорилъ отказавшійся. Предсѣдатель выражаетъ одобреніе. Потомъ встаетъ сидѣвшій офицеръ, это — обвинитель. Онъ подходитъ къ конторкѣ, перекладываетъ съ мѣста на мѣсто лежація на ней бумаги и начинаетъ говорить, громко, связно излагая все то, что сдѣлалъ этотъ молодой человѣкъ, что всѣ судьи знаютъ и что самъ молодой человѣкъ, только-что высказывалъ, не только не утаивая того, за что его обвиняли, но, напротивъ, усиливая поводъ обвиненія. Обвинитель говоритъ о томъ, что подсудимый, какъ самъ говоритъ, не принадлежитъ ни къ какой сектѣ, что родители его православные и что, поэтому, отказъ его отъ военной службы имѣетъ основаніемъ своимъ только упорство. И что упорство это, какъ его, такъ и подобныхъ ему заблуждающихся и непокорствующихъ людей, привели правительство къ опредѣленію противъ такихъ людей строгихъ мѣръ наказанія, такихъ, которыя, по его мнѣнію, и приложимы въ настоящемъ случаѣ. Послѣ этого что-то совсѣмъ никому ненужное говоритъ защитникъ. Потомъ всѣ уходятъ, потомъ опять вводятъ подсудимаго, и входитъ судъ. Судьи присаживаются и тутъ же встаютъ, и предсѣдатель, не глядя на подсудимаго, ровнымъ спокойнымъ голосомъ объявляетъ рѣшеніе суда: подсудимый, тотъ человѣкъ, который три года страдалъ изъ-за того, чтобы не признавать себя солдатомъ, во-первыхъ, лишается военнаго званія, правъ состоянія и преимуществъ и присуждается къ арестантскимъ ротамъ на четыре года.

Послѣ этого конвойные отводятъ молодого человѣка, и всѣ

участвовавшіе идутъ къ своимъ обычнымъ занятіямъ и увеселеніямъ, какъ будто ничего не случилось особеннаго.

Только молодой человѣкъ, охотникъ до куренья, испытываетъ какое-то странное, тревожащее его чувство, которое онъ не можетъ отогнать при неотвязчиво вспоминающихся ему благородныхъ, сильныхъ, неотразимыхъ словахъ подсудимаго, выраженныхъ съ такимъ волненіемъ. На совѣщаніи судей молодой офицеръ хотѣлъ было не согласиться съ рѣшеніемъ старшихъ, но замаялся, проглотилъ слюну и согласился.

На вечерѣ у полкового командира, гдѣ, въ промежуткахъ между двумя робберами, собрались всѣ у чайнаго стола, разговоръ зашелъ объ отказавшемся солдатѣ. Полковой командиръ опредѣленно выразилъ свое мнѣніе о томъ, что причина всего — необразованность: нахватаются всякихъ понятій, а не знаютъ, что къ чему, и выходятъ такія несообразности.

— Нѣтъ, я, дядя, не согласна съ вами, — вступилась въ разговоръ курсистка-соціалдемократка, племянница полкового командира, — достойна уваженія энергія, стойкость этого человѣка. Жалѣть можно только о томъ, что сила эта ложно направлена, — прибавила она, думая о томъ, какъ полезны были бы такіе стойкіе люди, если бы они стояли только не за отжившія религіозныя «фантазіи», а за «научныя» соціалистическія истины.

— Ну, да ты извѣстная революціонерка, — улыбаясь, сказала дядя.

— А мнѣ кажется, — безпрестанно затягиваясь, заговорилъ молодой человѣкъ, — что съ точки зрѣнія христіанства ничего нельзя возражать ему.

— Ужъ не знаю, съ какой точки зрѣнія, — строго сказалъ старый генераль, — знаю только то, что солдату надо быть солдатомъ, а не проповѣдникомъ.

— По-моему же, главное дѣло въ томъ; — сказалъ, улыбаясь глазами, предсѣдатель суда, — что если мы хотимъ доиграть всѣхъ робберовъ, то надо не терять золотого времени.

— Кто не допилъ чай, я подамъ къ карточному столу, — сказалъ гостепріимный хозяинъ, и одинъ изъ игроковъ ловкимъ привычнымъ движеніемъ вѣеромъ раскинулъ карты. И игроки размѣстились...

Въ сѣняхъ тюрьмы, гдѣ конвойные съ отказавшимся отъ службы арестантомъ дожидались распоряженія начальства, шелъ такой разговоръ:

— Якъ-же батъка, не знае, — говорилъ одинъ изъ конвойныхъ, — хiba не було у книгахъ, якъ бы имъ.

— Стало-быть, не понимаютъ, — отвѣчалъ отказавшійся. — Если бы понимали, они бы то же самое говорили. Христось не убивать велѣлъ, а любить.

— Такъ-то такъ. Чудно и, главное дѣло, трудно...

— Ничего не трудно, я вотъ просидѣлъ и еще просижу, и на душѣ мнѣ такъ хорошо, что дай Богъ всякому.

Подошелъ унтеръ-офицеръ нестроевой роты, уже немолодой человѣкъ.

— Что, Семенычъ, — обратился онъ къ арестанту, — приговорили?

— Приговорили.

Унтеръ-офицеръ мотнулъ головой:

— Такъ-то такъ, да терпѣть трудно.

— Стало быть, такъ надо, — отвѣчалъ улыбаясь арестантъ, видимо, тронутый сочувствіемъ.

— Такъ-то такъ, Господь терпѣлъ и намъ велѣлъ; да трудно.

На эти слова быстрымъ молодецкимъ шагомъ вошелъ въ сѣни красавецъ полякъ-фельдфебель.

— Нечего разговоръ разговаривать, маршъ въ новую тюрьму.

Фельдфебель былъ особенно строгъ, потому что ему было дано приказаніе слѣдить за тѣмъ, чтобы арестованный не общался съ солдатами, такъ какъ, вслѣдствіе этихъ общеній за тѣ два года, которые онъ просидѣлъ здѣсь, четыре человѣка были возвращены имъ въ такіе же отказы отъ службы и судились уже, и сидятъ теперь въ разныхъ тюрьмахъ.

(«Утро Россіи»).

Л. Толстой и армія.

Вице-адмиралъ въ отставкѣ Л. Н. Скаловскій и контръ-адмиралъ въ отставкѣ В. Н. Юрковскій напечатали въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» письмо, въ которомъ, между прочимъ, говорятъ: «18-го ноября 1903 года исполнилось 50-тилѣтіе Синопскаго боя, этой прелюдіи къ оборонѣ Севастополя. Свято храня традиціи прошлаго, черноморскіе моряки ко дню празднованія ими юбилея этого событія пригласили по возможности всѣхъ уцѣлѣвшихъ героевъ. Было послано приглашеніе Льву Николаевичу

Толстому, любезнымъ письмомъ благодарившаго за память. Сѣхалось много ветерановъ-участниковъ. Послѣ панихиды по убиеннымъ и парада, дорогіе гости были приглашены по обычаю въ собраніе на обѣдъ. Здѣсь отъ лица черноморскихъ моряковъ они были привѣтствуемы по просьбѣ сослуживцевъ дежурнымъ старшиной собранія. Прошло 7 лѣтъ, наступило утро 7-го ноября 1910 года и вотъ, въ степи на маленькой желѣзнодорожной станціи, среди шума и суеты проходящихъ поѣздовъ, точно какъ когда-то на бивуакѣ подъ Малаховымъ курганомъ, закончилъ свои земные дни одинъ изъ послѣднихъ севастопольцевъ. Принявъ лично со всѣми подъ Севастополемъ очистительную жертву, Левъ Николаевичъ имѣлъ право въ послѣдствіи отрицать войну, но, какъ военный, онъ выполнилъ тогда свой долгъ на дѣлѣ до конца, какъ вѣрный слуга царя и родины. Въ одной изъ газетъ сообщалось, что въ Астаповѣ поклониться праху усопшаго была депутація отъ нѣжинскаго гусарскаго полка. Конечно, они частно почтили отъ лица гусаръ и героя Севастополя и творца, создавшаго идеалы такихъ самоотверженныхъ, правдивыхъ, искреннихъ и храбрыхъ воиновъ, какими являются Николай Ростовъ, Денисовъ, Каратаевъ и др. Но Севастополь—достояніе всей арміи и флота. Увѣрены, что мы пропустили извѣстіе о выраженіи должной дани. Уваженія со стороны всей арміи и флота къ почившему герою доблестной обороны Севастополя».

Великій учитель.

Л. Н. Толстой и школа.

Не угашайте въ дѣтяхъ духа жива!—вотъ тотъ священный завѣтъ, который оставилъ въ наслѣдіе намъ великій учитель земли русской, сошедшій въ могилу, Л. Н. Толстой.

Непримѣримый врагъ всякаго насилія и лжи Л. Н. Толстой на принципахъ правды и невмѣшательства построилъ философски-строгую систему воспитанія и обученія дѣтей.

Не лгите дѣтямъ, чутко прислушивайтесь къ ихъ запросамъ, не навязывайте ничего насильно имъ...

Помните: дѣтскій возрастъ есть первообразъ гармоніи. Въ ребенкѣ вложены всѣ великія начала правды, красоты и

добра, поэтому всякое вмѣшательство въ его развитіе будетъ лишь насиліемъ и коверканіемъ растущей души.

Такъ говорилъ не разъ Л. Н., когда къ нему обращались за совѣтами, чему и какъ учить юное поколѣніе. Провозгласивъ идею свободнаго воспитанія, Л. Н. Толстой на дѣлѣ, у себя въ Ясной Полянѣ, подкрѣпилъ ее опытомъ.

Заря новой жизни возгаралась тогда.

Первые лучи свободы, вспыхнувъ яркимъ пламенемъ на горизонтѣ, прорѣзали сгустившуюся надъ страной ночь.

Оборвались цѣпи крѣпостного права!.. Вчерашній рабъ, освѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, выходилъ на широкую гражданскую дорогу.

Ему на помощь поспѣшили Л. Н. Толстой. Бросивъ университетъ, съ пламенной вѣрой въ народъ, его великое будущее, Л. Н. у себя въ имѣніи отдается обученію крестьянскихъ малышей.

Такъ возникла яснополянская школа... И не разъ великій учитель возвращается къ ней въ своей жизни. Уже съ славнымъ именемъ художника—литератора, объѣздивъ Европу, всесторонне изучивъ постановку школьнаго дѣла въ Германіи, Англіи и Франціи, Л. Н. вновь идетъ къ дѣтямъ—это общество ему всегда такъ было мило,—вновь берется за учительство и, не ограничиваясь уже стѣнами школъ, начинаетъ дѣлиться опытомъ и наблюденіями въ своемъ собственномъ педагогическомъ органѣ.

Еще въ 1862 году Л. Н. Толстой рѣзко возстаетъ противъ школьнаго проекта, подчиняющаго народныя школы всецѣло правительству. «Куда было бы лучше, если бы самъ народъ, до котораго только и касается дѣло проекта, посредствомъ своихъ представителей, составилъ свою систему образованія»—писалъ тогда Л. Н.

Не менѣе отрицательно относился Л. Н. и къ современной школѣ и университетамъ, «дающимъ различныя права и привилегіи» въ ущербъ интересамъ народа. То, что принято у насъ называть образованіемъ—писалъ Толстой—содержитъ больше, чѣмъ на половину зла и обмана». Умеръ Л. Н. Толстой, но не умерли его идеи. И долго, долго онѣ будутъ освѣщать путь тѣмъ, кто, проникнувшись глубиной ихъ содержанія, вѣря въ торжество свѣта надъ тьмой, въ захолустьяхъ убогой деревни, не падая духомъ, дѣлаетъ скромное и полезное «дѣло»; «сбѣтъ

разумное; доброе; вѣчное. И недалеко, быть можетъ, то время, когда страна, давшая міру Л. Н. Толстого, блеснетъ всѣми цвѣтами радуги творческой души великаго коллектива многомиліонной Россіи.

Великъ тотъ народъ, который родилъ, вспоилъ и вскормилъ Льва Толстого.

*Народный учитель.
(«Газета Копѣйка»).*

Толстой и дѣти.

Это было 3 года назадъ.

Левъ Николаевичъ зналъ, что къ нему въ гости собирается школьная дѣтвора.

Еще наканунѣ было заготовлено угощеніе на 350 ребятъ.

И «дѣдушка» ждалъ къ себѣ эту «молодую Россію», какъ большого праздника...

Воскресенье. Обѣдня давно отошла. А ребятишекъ все нѣтъ.

Л. Н. волнуется и что-то ворчитъ себѣ подъ носъ.

Погода чудная. Роса давно сошла. И лишь въ тѣни, на широкомъ, темнобронзовомъ листѣ подорѣшника сверкаютъ кое-гдѣ уцѣлѣвшія слезинки ночи.

Начинаетъ припекать...

На бирюзѣ неба выплываютъ разбросанные хлопья перламутра... Иволги пересвистываются въ старомъ паркѣ какъ-то нагло и самоувѣренно, точно дразнятъ...

Гдѣ же дѣти?

Набѣжалъ легкій вѣтерокъ. Вздогнула и затрепетала осина. И паркъ вздохнулъ и забурчалъ.

«Дѣдушка» поглядываетъ на часы, на стараго любимца-дуба; на небо, гдѣ уже заходили кудрявые «барашки», и беспокоится еще больше...

— Отчего ихъ нѣтъ?..

Но вотъ вдали, на фонѣ перешептывающейся, просвѣчивающей ржи, замелькали свѣтлыя платица дѣвочекъ и болѣе темныя разноцвѣтныя рубашки мальчиковъ...

Они быстро ползутъ длинной, веселой, извивающейся змѣей, разбившись по школамъ, съ учителями и учительницами въ перерывахъ.

На ходу, въ хлѣбъ, ребята рвутъ веселые сапфировые васильки, степную, бѣлую ромашку, колосья... И вяжутъ изъ нихъ букетики и вѣночки...

Первые живые цвѣточки уже въ паркѣ и кажутся огромной, безконечной гирляндой, затеривающейся гдѣ-то въ дали, въ ажурной гущѣ привѣтливо кланяющейся ржи...

Бодрая, радостная, смѣющаяся личики... Мальченки отъ избытка радости припрыгиваютъ: весело имъ! И такъ все хорошо кругомъ!

Они любятъ и чтутъ хозяина Ясной Поляны, залитой солнцемъ, которое опять прогнало куда-то далеко-далеко противныя тучки...

Имъ хочется шумѣть, визжать, кричать, бѣгать!

Но развѣ можно огорчить «дѣдушку»?

— Тише, тише, пострѣлята!—строго приказываютъ имъ густыя и важныя столѣтнія деревья...

Сердечики колотятся сильнѣе, чѣмъ ближе къ завѣтной галлерей...

Передніе уже подходятъ... Сіяющіе, загорѣлые и робѣющіе... Они кланяются...

А заднимъ не терпится... Они напираютъ, стараясь скорѣе поспѣть.

Левъ Николаевичъ идетъ навстрѣчу, довольный и умиленный...

Онъ заговорилъ. Такъ просто, любовно. И сразу стало всѣмъ легко и вовсе не страшно...

Огромная дѣтская семья наводнила паркъ.

Хохотъ. Пѣсни. Шутки.

Бѣгаютъ въ перегонки, катаются по травѣ, лѣзутъ на деревья.

Какая-то малюсенькая дѣвченка съ льняными волосами, выбившимися изъ подъ платочка, и бирюзовыми глазенками, смѣло спрашиваетъ «дѣда»:

— А сколько тебѣ лѣтъ?.. Ты вѣдь не строгій, хоть и старенькій?

— Нѣтъ, нѣтъ, умница,—не строгій...

— Можно цвѣточки не сѣянные рвать?—подбѣгаетъ шустрый мальчуганъ.

— Можно, можно!.. Божьи они...

Левъ Николаевичъ шутить, смѣется, рассказываетъ, хвалить пѣніе, угощаетъ.

Дѣти рѣзвятся кругомъ, кувыркаются, слушаютъ, носятся другъ за другомъ и за пестрой бабочкой или пузатымъ жукомъ...

Потомъ, усталые и разгоряченные, бѣгутъ купаться.

«Дѣдъ» вездѣ съ ними; посреди нихъ; счастливый и радостный.

И такъ весь день, до самаго вечера...

Весело всёмъ и легко!

Случайные гости среди нихъ—художникъ Нестеровъ, рисующій Льва Николаевича, П. А. Сергѣенко и много молодежи—почтительно любятъ дѣтскимъ праздникомъ....

Заразительны веселье, искренность и одушевленіе!

И слезы подступаютъ, и жутко-радостно, глядя на Толстого, среди дѣтей...

Могучій умъ осиливаетъ время, заставляя сердце молодѣть и отдаваться непосредственности...

Толстой живетъ...

Глаза блестятъ... Глубокія морщины согрѣты розовымъ приѣтомъ догорающаго дня.

И богатырь духа, обвитый живой рамой жужжащей дѣтвора, и ласковымъ, прощающимъ солнцемъ; кажутся картиной изъ чудной, когда-то видѣнной сказки, чистаго, грезящаго дѣтства...

И понятнымъ становится его могучая власть надъ людьми.

В. Анзиминовъ.

Свѣтлой памяти.

Великая любовь, великая совѣсть, великій разумъ — вотъ чѣмъ былъ Толстой, какъ человѣкъ, для людей и для міра. И нѣтъ въ мірѣ такой страны, хотя бы только съ зарождающеюся культурой, гдѣ не было бы сторонниковъ Льва Николаевича и имя его не было бы окружено отвѣтной любовью и уваженіемъ.

Свой исключительный художественный талантъ Толстой отдалъ на проповѣдь добра и любви, и впервые заговорилъ мыслитель не съ одними избранниками, а со всѣмъ народомъ на языкѣ простомъ и понятномъ всякому, о вопросахъ для всѣхъ насущныхъ, коренящихся въ самой жизни: о горѣ, о нуждѣ, о вѣрѣ, о жизни и правдѣ, стремясь слова свои связать со своими поступками.

Отреченіе, отреченіе, отреченіе—вотъ вѣчный спутникъ провозвѣстниковъ правды и любви.

Въ поступкахъ смѣлыхъ, правдивыхъ и добрыхъ другіе люди нерѣдко чувствуютъ себѣ укоръ. Вотъ почему такъ часто и охотно осуждается многое хорошее, выдающееся за предѣлы быденнаго. И чѣмъ болѣе отрекался Толстой отъ благъ жизни, тѣмъ болѣе изъ его жизни вырасталъ укоръ другимъ людямъ, и тѣмъ болѣе сыпалось на него обвиненій въ неискренности со стороны чуждыхъ ему темныхъ силъ, видящихъ свое счастье только въ богатствѣ, власти и роскоши.

Терпѣливо и внимательно читалъ и выслушивалъ Л. Н. всѣ эти озлобленные выходки, нерѣдко угрозы, оскорбленія и площадную брань, думая не о себѣ самомъ, но о тѣхъ, которые могли бы пострадать отъ этого—изъ-за него.

Сотни тысячъ людей со всего свѣта обращались къ нему лично и письменно и на все получали отвѣты. Обращались къ нему съ отвлеченными вопросами, обращались крестьяне съ своими дѣлами, обращались всякіе люди съ общественными, семейны-

ми и личными дѣлами; съ «проклятыми вопросами»; потому что чувствовали въ немъ близкаго и искренняго человѣка.

Пока онъ былъ живъ, всѣ знали, что живетъ онъ въ Ясной Полянѣ, ѣздитъ верхомъ, гуляетъ, работаетъ, и въ то же время, не переставая, думаетъ о всѣхъ людяхъ и рѣшаетъ, какъ бы за всѣхъ насъ, самые серьезные и важные вопросы и рѣшаетъ ихъ не холоднымъ умомъ, какъ философъ, возводящій стройную систему, но душою и сердцемъ, и оттого всякая написанная имъ новая строчка читалась во всемъ мірѣ съ такимъ захватывающимъ интересомъ.

И вотъ ушелъ отъ насъ великій гражданинъ міра! Можетъ-быть, самый великій изъ всѣхъ живущихъ, ушелъ сознательно, готовый къ этой перемѣнѣ бытія.

Вотъ его собственныя слова, напечатанныя въ прошедшемъ году въ «Друкарѣ»:

«Ничего нѣтъ вѣрнѣе смерти, того, что она придетъ для всѣхъ насъ. Смерть вѣрнѣе, чѣмъ завтрашній день, чѣмъ наступленіе ночи послѣ дня, чѣмъ зима послѣ лѣта. Отчего же мы готовимся къ завтрашнему дню, къ ночи, къ зимѣ, а не готовимся къ смерти? Надо готовиться и къ ней. А приготовленіе къ смерти одно: добрая жизнь. Чѣмъ лучше жизнь, тѣмъ меньше страхъ смерти; и тѣмъ легче смерть!»

Не стало великаго человѣка, великаго не только талантомъ, но любовью и правдой, не стало титана, несущаго тяжесть жизни, не стало доступнаго всѣмъ другу и мыслителя, который все пойметъ и на все отвѣтитъ «не за страхъ, а за совѣсть».

Со смертью его тяжелѣй стало жить, страшнѣе передъ жизнью и смертью, такъ какъ вся жизнь его была одной великой любовью и въ этой жизни у него былъ единственный врагъ—Зло, съ которымъ онъ боролся кротостью и добромъ.

Наши потомки за то, что мы, теперешніе люди, жили одновременно съ Толстымъ, будутъ называть насъ счастливыми. Къ тѣмъ же, кто отрицательно смотреть на этого великаго старца и мудреца, обращаю божественныя слова Евангелія:

«Не судите и несудимы будете».

*Н. Телешовъ.
(«Руль»).*

Отъ трагическаго до пошлаго.

Недѣля трагедіи великой души.

Исходомъ изъ яснополянскаго Египта завершена прекраснѣйшая страница жизни удивительнаго человѣка.

Эта жизнь, какъ высокое художественное произведеніе, только что законченное великимъ художникомъ; еще ревниво скрыта отъ чужихъ глазъ.

Узрѣвшіе счастливыцы остановились передъ нимъ въ благоговѣйномъ молчаніи.

Боятся слово проронить. Боятся словомъ умалить значеніе событія.

И какъ разъ въ эту святую минуту появляется неизбѣжный репортеръ.

— Виновать! Будьте любезны, скажите, что здѣсь происходитъ? Это что? Новое произведеніе великаго? Какъ вы его находите? Я хотѣлъ бы также знать вашъ принципиальный взглядъ на подобнаго рода произведенія? Вѣрно ли, что эту голову онъ писалъ съ жены, которая не понимала его и смотрѣла на него исключительно съ матеріальной точки зрѣнія? Вообще, кажется, у него въ семьѣ былъ большой разладъ...

Какъ только стало извѣстно, что Левъ Толстой ушелъ изъ Ясной Поляны, тайно даже отъ самыхъ близкихъ родныхъ, ушелъ неизвѣстно куда, ушелъ съ просьбой не искать его, дать ему уединиться, репортеры бросились на розыски его.

Великаго Толстого было, конечно, не трудно найти.

Но изъ уваженія къ его волѣ нужно было поступить такъ, какъ поступили граждане цѣлаго города, когда прекрасная Леда Годива проѣхала обнаженная по улицамъ.

Они знали, что она проѣдетъ обнаженная; но, благоговѣя передъ ея подвигомъ, закрыли окна и двери домовъ своихъ и глаза свои.

И не видѣли.

Но репортеры не только открыли окна и двери домовъ своихъ; но забрались и въ чужіе дома и тамъ пораскрывали всѣ окна и двери.

— Смотрите! Вотъ онъ! Вотъ онъ идетъ! Въ коричневомъ пальто и шапкѣ! Вотъ онъ ѣстъ яичницу!

— Жена поругалась съ его другомъ.

Если бы въ то время, когда Моисей ушелъ умирать на гору, а Иисусъ Христосъ вознесся на небо, существовали репортеры, божественная библейская легенда врядъ ли пришла бы къ намъ, какъ легенда.

Вмѣсто поэтической страницы, въ библии былъ бы официальный бюллетень;

Въ немъ была бы правда.

Но правда о клизмѣ и изжогѣ.

Нужна ли человѣчеству эта страшная, пошлая правда?

И. Мавичъ.

(«Пуль»).

КТО ВИНОВНИКЪ?

(Письмо гр. И. Л. Толстого).

Передъ нами немного самыхъ простыхъ и обыденныхъ фактовъ. Восьмидесятидвухлѣтній старикъ бросилъ свою семью, поѣхалъ куда-то по желѣзной дорогѣ, простудился, слегъ больной на станціи «Астапово» и черезъ шесть дней умеръ отъ воспаленія легкихъ. Ежедневно, въ каждой газетѣ, мы читаемъ десятки фактовъ гораздо интереснѣе и сложнѣе этого и не замѣчаемъ ихъ, и никому изъ насъ не приходитъ на умъ такъ или иначе ихъ комментировать. Если въ той же газетѣ упоминаютъ о причинахъ совершившагося факта, то говорятъ: «Причина неизвѣстна», или: «На почвѣ семейнаго разлада», или: «Неудовлетворенность жизнью» и т. п.

Какъ просто!

И, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ужасно сложно!

Поверхностное, почти только зрительное впечатлѣніе для скупающаго читателя или глубокая трагедія цѣлой жизни. Разница только въ одномъ,—вдумаемся мы въ этотъ фактъ или нѣтъ.

Я сознаю, что я, близкій человѣкъ, сынъ и воспитанникъ своего отца, совершенно безсиленъ обнять глубину его душевныхъ движеній и ничего не прибавлю къ тому, что сказано имъ самимъ и всей его жизнью; но мнѣ надо самому для себя нащупать слѣды, по которому мнѣ хотѣлось бы направить свою память о жизни отца, такъ величественно имъ законченной.

Прежде всего: кто виновенъ? Кто убилъ человѣка любимого и чтимаго всѣмъ міромъ?

Неужели можно этотъ вопросъ связать съ памятью Толстого? Неужели можно винить людей именемъ того, который всю свою долгую жизнь посвятилъ только прощенію и любви? Даже если бы отецъ мой былъ убитъ насильственно, рукой преступника, то и тогда вина этого преступника и кара за содѣянное въ серд-

цахъ людей, любящихъ моего отца, легла бы тяжелымъ и неизгладимымъ гнетомъ.

Кто виновенъ въ страданіяхъ великой души, мятущейся отъ міровой скорби? Кто?

Тотъ же міръ.

И чѣмъ шире эта душа и чѣмъ больше она видитъ страданія,—тѣмъ острѣе ея скорбь. Она «не можетъ молчать», потому что люди винятъ и осуждаютъ другъ-друга, но она сама не винитъ никого.

И мучится тѣмъ страданіемъ, которое есть удѣлъ немногихъ избранныхъ.

Подходить къ памяти Толстого съ вопросомъ «кто виновенъ?» нельзя, такъ же, какъ и нельзя какимъ-нибудь однимъ вліяніемъ или причиной объяснить трагедію его душевныхъ переживаній послѣдняго времени.

Когда онъ изъ Ясной Поляны уѣхалъ въ Шамардино, я писалъ ему, приблизительно, слѣдующее: «Я не считаю себя въ правѣ входить въ оцѣнку твоего поступка; такъ какъ знаю, что для всякаго поступка есть тысяча причинъ, изъ которыхъ я знаю только половину».

Теперь я чувствую, что я знаю даже не половину, а гораздо меньше.

Какія же это причины, мнѣ извѣстныя?

Двадцать восемь лѣтъ тому назадъ отецъ хотѣлъ раздать все свое имущество, оставить семью и уйти. Въ 1890 году онъ раздѣлилъ все свое недвижимое имущество между девятью дѣтьми и женой и довѣрилъ ей изданіе сочиненій. Съ тѣхъ поръ, за исключеніемъ поѣздки въ Крымъ, во время болѣзни, онъ безвыѣздно проживалъ въ Ясной Полянѣ. Потомъ его внезапный отъѣздъ и смерть.

Вотъ факты—голые и, скажу даже, — на первый взглядъ непослѣдовательные.

Въ 1900 году Л. Н. въ письмѣ къ одному изъ друзей, Б., говоритъ: «...Я убѣдился, что убѣждать логически не нужно... Теперь я убѣдился, что показать путь можетъ только жизнь,—примѣръ жизни. Дѣйствіе этого примѣра очень не быстро, очень неопредѣленно (въ томъ смыслѣ, что, думаю, никакъ не можешь знать, на кого оно подѣйствуетъ), очень трудно. Но оно даетъ толчокъ. Примѣръ—доказательство возможности христіанской, т. е. разумной и счастливой жизни при всѣхъ воз-

можныхъ условіяхъ); это одно двигаетъ людей и это одно нужно и мнѣ, и вамъ... Пишите мнѣ, и будемте какъ можно правдивѣ другъ передъ другомъ»...

Вотъ его правдивая исповѣдь, и вотъ ключъ къ разгадкѣ всей его послѣдующей жизни.

«При всѣхъ возможныхъ условіяхъ».

Какія условія въ то время были для него возможными?

Неужели можно думать, что если бы онъ считалъ въ то время для себя возможнымъ бросить семью и уйти, онъ не сдѣлалъ бы этого? Неужели онъ тогда же не исполнилъ бы своей завѣтной мечты, которой жилъ и которая была ему необходима, какъ воздухъ, которымъ онъ дышалъ, какъ пища?

Въ то время мнѣ, пишущему эти строки, было 17 лѣтъ, я весь былъ поглощенъ своей сильной юношеской личной жизнью, но я помню его ищущій, задумчивый взглядъ, его отчужденность отъ всего внѣшняго міра и одиночество. Какъ Колумбъ, открывшій новые горизонты, онъ смотрѣлъ туда одинъ, угнетенный безвѣріемъ и непониманіемъ окружающихъ.

И онъ все-таки остался въ этой, тогда уже чуждой ему, семьѣ и обстановкѣ и понесъ свой крестъ, потому что такъ было надо.

Идеально-чувствительные вѣсы, на которыхъ онъ взвѣшивалъ свою жизнь передъ судомъ своей совѣсти, колебались.

Съ одной стороны—прямолинейное исполненіе идей Христа, отрицаніе собственности, мірскихъ благъ и суеты, удовлетворенное честолубіе, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, и опять тысяча причинъ, намъ невѣдомыхъ; съ другой стороны—жена, которую онъ любилъ двадцать лѣтъ, дѣти, привычки, авторство, боязнь тяжело огорчить близкихъ ему людей, добровольное смиреніе воли властной и непоколебимой и другая тысяча причинъ. Вѣсы долго колебались,—и вторая чаша перевѣсила: «Христіанская разумная и счастливая жизнь должна быть возможна при всѣхъ возможныхъ условіяхъ», и онъ остался въ Ясной Полянѣ, смиренно принимая на себя упреки міра въ непослѣдовательности и въ выполненіи идеи, которая для него была дороже жизни.

Можно ли вѣнчить ему въ вину то, что онъ считалъ невозможнымъ измѣнить свой образъ жизни, можетъ быть, цѣною жизни своей жены!

Какъ-то, лѣтъ 15 тому назадъ, онъ съ большой горечью сказалъ мнѣ: «Вотъ, я умру, и скажутъ: «Что такое былъ Толстой?

Проповѣдывалъ пахать, шить сапоги и больше ничего». И, къ сожалѣнію, для многихъ онъ остался тѣмъ же и до сихъ поръ. Какъ охотно упрекаютъ его въ томъ, что онъ до конца жизни училъ одному, а самъ оставался жить въ тѣхъ же условіяхъ роскоши въ родовой Ясной Полянѣ, съ двумя лакеями, поварами и пр., и пр....

Въ томъ же письмѣ къ отцу, которое я писалъ въ Шамардино и о которомъ я упоминалъ выше, я писалъ ему: «Всѣ люди, близко тебя знающіе и любящіе тебя, всегда относились къ жизни твоей въ Ясной Полянѣ, какъ къ кресту, который ты добровольно несешь, и мнѣ жаль, что ты не донесъ этого креста до конца».

Вотъ, по моему мнѣнію, единственное правильное отношеніе къ жизни отца въ Ясной Полянѣ и къ его уходу изъ нея.

За послѣднее время вѣчно живые вѣсы заколебались сильно.

Равновѣсіе обѣихъ чашъ нарушилось. Одна чаша стала легче, другая потяжелѣла. Дѣти всѣ взрослые и живущіе самостоятельными семьями, отодвинулись на второй планъ, семья фактически распалась; нѣкоторыя, не зависящія отъ него, обстоятельства сдѣлали ему жизнь, хотя бы въ смыслѣ продуктивности работы, болѣе тяжелой, и онъ опять задумался. Долженъ ли онъ и смѣть ли, во имя остатка семьи, во имя чего-то уже почти не существующаго, жертвовать тѣмъ главнымъ, что у него есть и чего мощно и настойчиво требуетъ его совѣсть. Нельзя ли теперь осуществить то, что было раньше невозможно? Не измѣнились ли «возможныя условія»?

Но «силъ уже нѣтъ, я просто физически слабъ, чтобы что-нибудь предпринять»,—говорилъ онъ лѣтомъ брату моему Сергѣю. И онъ нѣсколько мѣсяцевъ думалъ и взвѣшивалъ свои силы на тѣхъ же вѣсахъ. Тысяча песчинокъ на одной чашѣ, и тысяча и одна на другой. Равновѣсіе нарушилось 28-го октября, ночью; онъ побѣждалъ съ фонаремъ въ конюшню, самъ, трясущимися отъ волненія, старческими руками помогалъ кучеру запрячь лошадей и... уѣхалъ.

Кто же виновникъ?

Кучеръ ли, который запрягалъ, семья ли его, которая иногда причиняла ему огорченія, люди ли, которые его понимали, или тѣ, которые, не понимая его, глумились надъ его лаптями и паханьемъ, всѣ ли мы живущіе, или никто,—не намъ судить.

Жизнь сложна до безконечности.

Каждый изъ насъ, смертныхъ, носить въ душѣ свою тяжелую драму, которую не облегчать слова обвиненія. Всѣмъ намъ легче будетъ пережить утрату, которую мы понесли въ лицѣ моего отца, если отнесемъ къ его смерти такъ, какъ хотѣлъ бы этого онъ,—съ любовью и прощеніемъ.

Не судите, да не судимы будете, и—будемъ искать возможности христіанской жизни при всѣхъ возможныхъ условіяхъ.

Гр. Илья Толстой.

(«Русск. Слово»).

Т о л с т о й.

Статья кн. П. КRAPOTKИНА.

Въ бытность мою въ Америкѣ, въ 1901 году, едва тамъ разнеслась вѣсть о намѣреніи русскаго правительства арестовать Льва Николаевича Толстого, миллионы людей уже готовились выступить съ громаднѣйшимъ протестомъ, если бы только арестъ состоялся. И тогда уже меня поразило, насколько въ популярности великаго писателя было личной любви къ человѣку.

Волненіе, охватившее на-дняхъ миллионы людей во всемъ цивилизованномъ мірѣ, при полученіи извѣстія объ удаленіи великаго старца изъ своей семьи, а потомъ—его болѣзни и смерти, воочію показало, насколько широко разлита эта любовь.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что главная причина популярности Толстого—въ его религіозномъ и нравственномъ ученіи и въ его попыткѣ устроить свою жизнь въ согласіи со своимъ ученіемъ. Но несомнѣнно и то, что полюбили его во всѣхъ странахъ образованнаго міра въ особенности за его исканіе правды, за страданія, пережитыя имъ въ этомъ исканіи, за искренность, съ которою онъ рассказывалъ свои сомнѣнія и слабости, и свою внутреннюю борьбу.

Люди поняли при этомъ, что Л. Н. Толстой выразилъ болѣзнь нашего вѣка: гнетущее противорѣчіе между основами нашей общественной жизни и понятіями о правдѣ всѣхъ тѣхъ—людей всѣхъ классовъ,—кто еще не заглушилъ въ себѣ голоса совѣсти, справедливости, разума. Поняли, что всѣми силами своей души искалъ онъ рычага, который помогъ бы правдѣ побѣдить безобразія нашей жизни.

Дѣйствительно, никто изъ тѣхъ, чей голосъ доходитъ до массы людской—даже Достоевскій—не переживалъ этого разлада въ такой полнотѣ, какъ Толстой. И никто, лучше его, не сумѣлъ

его выразить, описавши въ глубоко-художественной формѣ свою собственную, болѣе чѣмъ 65-лѣтнюю внутреннюю борьбу.

Многое содѣйствовало тому, чтобы изъ Толстого выработался не только Руссо девятнадцатаго вѣка, но мыслитель еще болѣе глубокой, болѣе послѣдовательный и болѣе смѣлый чѣмъ Руссо.

Во-первыхъ, конечно, нашъ вѣкъ, прибавившій опытъ всего пережитаго за послѣднія полтора ста лѣтъ—опытъ трагедій конца 18 и всего 19 вѣка.

Затѣмъ—русская жизнь, съ ея борьбою, съ ея народомъ, ищущимъ осуществленія идеаловъ, волновавшихъ умы Западной Европы передъ реформаціею, и съ ея интеллигентною молодежью, такъ же готовою и на геройское, и на тихое ежедневное самопожертвованіе, какъ была готова итальянская молодежь сороковыхъ годовъ.

Наконецъ, русское искусство. Со времени Пушкина и Гоголя, оно, прежде всего, стремится къ правдѣ и выше всего сгавить искренность, безыскусственность писателя. А со времени Лермонтова оно проникается еще и с к а н і е мъ, тоскою по неосуществленному идеалу,—вслѣдствіе чего Лермонтовъ, по словамъ Толстого, и имѣлъ на него большое вліяніе.

Реформаторскія мысли Руссо, обновленныя знаніемъ и опытомъ девятнадцатаго вѣка, проникнутыя и с к а н і е мъ Лермонтова и облеченныя въ безыскусственную, а потому, высоко-художественную форму, завѣщанную Пушкинымъ; до еще несомнѣнное вліяніе, вначалѣ, Тургенева и Григоровича (о немъ тоже говоритъ Толстой): подъ этими вліяніями сложилось творчество Толстого. Къ нимъ надо только прибавить вліяніе русскаго искусства вообще: театра, музыки, живописи, скульптуры. Въ нихъ живетъ тоже стремленіе къ жизненной правдѣ, искренности и скромности.

Къ этимъ внѣшнимъ вліяніямъ присоединилось еще въ дѣтствѣ и юношествѣ вліяніе семьи. Во многихъ дворянскихъ семьяхъ того времени встрѣчалось постоянно два теченія: христіанскія стремленія у однихъ, и рационализмъ, внесенный французскою философіею 18-го вѣка, у другихъ. Вѣра и разумъ въ семьѣ Толстыхъ и Волконскихъ (мать Льва Николаевича была княжна Волконская), изобиловавшей замѣчательными людьми, оба стремленія были выражены особенно сильно. И тутъ же рядомъ встрѣчались два другихъ теченія: поклоненіе формамъ жизни «высшаго общества», даже чванство—и рѣзкое, чисто базаровское

отрицаніе этихъ формъ. Христіанская вѣра старшаго поколѣнія сталкивалась съ безвѣріемъ молодежи, а безупречное *somme il faut* старшаго брата Сергѣя—съ рѣзкимъ отрицаніемъ всего этого вторымъ братомъ, Дмитріемъ, страстно бросавшимся изъ христіанскаго аскетизма въ дикій разгулъ, и обратно. Примиренія съ пустою жизнью сытаго барства въ этой семьѣ не было.

И еще надо прибавить къ этому жизнь въ прекрасной усадьбѣ Ясной Поляны, среди средне-русскаго, тульско-калужско-орловскаго крестьянства, гдѣ дѣловитая сухость сѣверо-русскаго племени смягчается южно-русскимъ вліяніемъ. Здѣсь зародилась въ будущемъ великомъ писателѣ та «чисто-физическая», какъ онъ выразился, любовь къ крестьянамъ и ихъ труду, которая такъ спасительно повліяла на него во время его духовнаго кризиса въ 1876—1878 годахъ.

Всю внутреннюю борьбу, происходившую въ немъ съ ранней юности, между стремленіемъ къ чему-то лучшему, къ идеалу, хотя еще не осознанному, и между засасывающею пошлостью жизни, Толстой вынесъ міру и рассказалъ со всею силою великаго художника. Сперва, въ первый періодъ своего чисто-художественнаго творчества, съ 1855 по 1878 годъ, это описывалъ въ видѣ жизни и волненій Иргенева, Неклюдова, Оленина, Пьера (и отчасти Андрея), Левина, и др., искусно сплетенныхъ имъ съ жизнью, описываемою имъ въ романѣ или повѣсти. А потомъ, во второмъ своемъ періодѣ, начавшемся съ появленія «Исповѣди» въ 1879 году и продолжавшемся до смерти, онъ уже рассказывалъ свои сомнѣнія и борьбу, прямо обсуждая великіе, мучившіе его вопросы.

Сознательно или нѣтъ, вѣрнѣе всего, безсознательно—самое его творчество сложилось такъ, что оно удивительно способствовало изображенію внутренней борьбы, происходившей въ душѣ писателя.

Основная черта его творчества—правда, правда безъ прикрасъ. Правда, къ которой стремились, между прочимъ, наши писатели-народники (Рѣшетниковъ, Левитовъ и др.), но которая не давалась имъ безъ ущерба художественности. Правда, доведенная до отказа отъ созданія героевъ, какъ ихъ создавалъ Тургеневъ въ Рудинѣ, Базаровѣ, Еленѣ, и даже типовъ, какъ ихъ создавалъ Гоголь въ Чичиковѣ, Плюшкинѣ, Бетрищевѣ и т. д.

Герой—непремѣнно что-то законченное. Онъ покончилъ со

своими сомнѣніями и несетъ въ жизнь нѣчто цѣльное. Но такихъ людей Толстой не зналъ, а создавать ихъ, выдумывать ихъ, онъ не хотеть. Правду сказать, онъ едва ли вѣрилъ въ ихъ возможность. Со своею острою проницательностью, выражавшеюся даже въ его взглядѣ, онъ увидѣлъ то, что люди такъ тщательно скрываютъ и заговариваютъ: ихъ двойственностью, ихъ способность хоронить свои идеалы.

Онъ такъ хорошо видѣлъ въ Севастополѣ, въ траншеяхъ ужаснаго четвертаго бастіона, какъ самое геройство уживается въ людяхъ съ мелкими страстишками. Онъ видѣлъ, какъ за нѣсколько часовъ до смерти, иногда даже геройской, офицеры высчитывали ожидаемыя ими награды, обыгрывали другъ друга въ карты, чванились другъ передъ другомъ на бульварѣ «аристократическими» знакомствами. И по окончаніи войны онъ видѣлъ то же, только въ другихъ сферахъ, въ Петербургѣ. Онъ извѣрился въ героевъ. Создавать ихъ—была бы ложь, а ложь, писалъ онъ, если она унизительна въ жизни, то въ искусствѣ она убиваетъ все. Она уничтожаетъ связь между явленіями.

Самые типы у него слагались другимъ путемъ. Онъ бралъ живыхъ людей, которыхъ зналъ близко самъ, или по рассказамъ; и у нихъ онъ подмѣчалъ такія мелкія черты, которыя обыкновенно ускользаютъ отъ зрителя, не-художника; и при помощи этихъ, обыкновенно ускользающихъ черточекъ, онъ дѣлалъ лицо типичнымъ.

Во всѣхъ своихъ повѣстяхъ и романахъ, какъ это видно изъ прекрасной книги П. И. Бирюкова, Толстой бралъ живыхъ, знакомыхъ ему людей. А въ своей великой эпопеѣ 1812 года онъ даже прибѣгнулъ къ необыкновенно смѣлому приему. Рядомъ съ историческими событіями, онъ, конечно, провелъ романъ,—какъ это обыкновенно дѣлается въ исторической повѣсти. И всю романическую часть онъ перенесъ на членовъ семьи Толстыхъ и Волконскихъ («Ростовыхъ» и «Болконскихъ» въ романѣ), о жизни которыхъ онъ зналъ мельчайшія подробности, по рассказамъ родныхъ—преимущественно женщинъ, которыя однѣ могли подмѣтить подробности, упоминаемыя имъ. Оттого мы вездѣ встрѣчаемъ у Толстого живыхъ, выпуклыхъ лица, и, благодаря мелочамъ ихъ жизни и манеръ, мы сразу чувствуетъ себя по-домашнему знакомыми съ ними.

Конечно, такимъ путемъ Толстой лишалъ себя возможности создавать міровые типы, въ родѣ Гамлета, Фауста, Ибсеновскаго

Бранда и т. п. Но зато, предоставляя другимъ изображать «героевъ» (за что онъ, между прочимъ, считалъ Виктора Гюго величайшимъ романистомъ), онъ на себя бралъ изображать «толпу», и сумѣлъ изобразить ее такъ, какъ никому, раньше его, не удавалось.

Для изображенія же душевной борьбы, пережитой имъ самимъ и переживаемой всѣми лучшими людьми нашего вѣка, ему именно нужны были самые обыкновенные люди. Въ томъ, что разладъ живетъ именно въ нихъ—въ милліонахъ, подобныхъ имъ,—и кроются историческое значеніе этого разлада, его сила и его нравственный смыслъ.

Еще мальчикомъ Толстой началъ чувствовать этотъ разладъ, и въ немъ началась внутренняя борьба. И въ бурные годы молодости борьба между эпикурейскою жаждою наслажденій и не покидавшими его высшими порывами должна была доходить до трагизма. Отъ своихъ собственныхъ страстей онъ ушелъ на Кавказъ, юнкеромъ, къ своему брату Николаю. И тутъ онъ на дѣлѣ испыталъ контрастъ между безсиліемъ барича передъ могучею природою и требуемымъ ею напряженіемъ силъ, и приспособленностью къ этой жизни простыхъ казаковъ и черкесовъ, которыхъ онъ явился покорять, самъ не зная зачѣмъ. Поклонникъ Руссо, носившій на шеѣ его портретъ въ видѣ ладонки и возившій съ собою «Общественный договоръ» даже въ горный набѣгъ, онъ понималъ на черкесѣ Садо, спасшемъ его дважды, насколько «первобытный» черкесъ стоялъ нравственно выше его, русскаго барина.

Еще сильнѣе почувствовалъ онъ этотъ контрастъ, когда увидалъ въ Севастополѣ, какъ умирали десятки тысячъ людей, безъ фразъ, безъ рисовки.

Много долженъ былъ пережить и передумать молодой Толстой въ траншеяхъ и ложементахъ Севастополя, раньше, чѣмъ онъ записалъ въ 1855 году въ свой дневникъ мысль о необходимости взяться за выработку религіи, которая отвѣчала бы современному развитію людей,—христіанской религіи, писалъ онъ, но безъ догматики и мистицизма,—религіи, которая не общала бы блаженства въ будущемъ, а давала бы счастье въ этой жизни.

Мы знаемъ теперь изъ поразительной «Исповѣди» Толстого, какъ, сопровождая большого брата Николая, онъ уѣхалъ за границу; какъ, вернувшись въ Россію, онъ занялся обученіемъ крестьянскихъ дѣтей въ ясно-полянской школѣ, а затѣмъ сталъ мировымъ посредникомъ и какъ все время манила его мысль о

семейномъ счастѣѣ. Знаемъ, какъ онъ женился въ 1862 году и какъ слѣдующія шестнадцать лѣтъ онъ провелъ за писаніемъ, романовъ «Война и миръ» и «Анна Каренина»,—и какъ семейная жизнь не дала ему искомага счастья. П. И. Бирюковъ даже напоминаетъ слова, вложенныя имъ въ уста Андрея, когда онъ совѣтуетъ Пьеру не жениться.

Начиная съ 1876 года, онъ началъ чувствовать, говоритъ онъ, «остановки жизни». Жизнь теряла всякій смыслъ. «Къ чему? Зачѣмъ?»—спрашивалъ онъ себя. Къ чему все больше богатства? Къ чему слава, когда самый смыслъ оплодлившейся жизни утратился? Счастье состоитъ въ жизни для другихъ, писалъ онъ когда-то въ повѣсти «Казакъ». Но убѣдить себя, что именно такъ и нужно жить, онъ не могъ,—говоритъ онъ въ «Исповѣди».

Всѣ люди его круга, считавшіеся прекрасными людьми, жили въ полномъ пренебреженіи самой простой справедливости. Когда-то онъ упрекалъ ихъ за это въ лживости — и, къ ужасу своему, онъ увидалъ теперь, что и самъ онъ живетъ точно такъ же. Что осталось у него отъ его прежнихъ идеаловъ? Лучшіе его друзья, изъ катковскаго лагеря, попирали ихъ ногами. Ужасъ охватилъ его, а съ нимъ—фаустовское отчаяніе; когда онъ созналъ свое собственное безсиліе. Самоубійство стало казаться ему единственнымъ выходомъ.

Извѣстно, какъ онъ разрѣшилъ мучившія его сомнѣнія. Крестьяне, говорилъ онъ, не знаютъ такихъ сомнѣній. «Смыслъ жизни» для нихъ—трудъ. И, не вѣря тогда еще въ возможность жить «по-божески», если нѣтъ на то велѣнія религіи, Толстой сталъ исповѣдывать православную вѣру, какъ ее исповѣдуютъ миллионы крестьянъ. Онъ говѣлъ, постился, ходилъ на богомолье въ Кіевъ, въ Оптину, пустынь... Но сомнѣнія росли. Разумъ протестовалъ.

А русская жизнь шла между тѣмъ своимъ чередомъ, и въ ней росло, развивалось «народничество»; Толстой не читалъ газетъ, но въ 1877 году вышла «Новь» Тургенева, и ее-то онъ прочелъ, и черезъ нее онъ долженъ былъ узнать о народникахъ. Годомъ позже онъ уже лично познакомился и подружился съ однимъ изъ нихъ, Вас. Ив. Алексѣевымъ; однимъ изъ членовъ нашихъ кружковъ, удалившимся во время преслѣдованій 1873—1874 года въ Америку, въ Канзасъ, гдѣ и поселился въ одной изъ коммунистическихъ колоній. Левъ Николаевичъ познакомился такъ же, и съ бывшими нечаевцами—Бибиковымъ, замѣчательнымъ, гово-

рять, человѣкомъ, Орловымъ и съ Маликовымъ, членомъ нашего орловскаго кружка, тоже бывшимъ мировымъ посредникомъ, который жилъ въ 1872—1874 году по-крестьянски въ Орлѣ и велъ пропаганду среди рабочихъ, а потомъ также уѣхалъ работать на землѣ въ Канзасѣ.

Съ Алексѣевымъ,—мы теперь знаемъ изъ нѣсколькихъ писемъ, напечатанныхъ въ послѣдней книгѣ Муада,—Толстой прямо-таки сдружился и писалъ ему въ 1881 году:

— «Вы были первый (изъ интеллигентовъ) изъ моихъ знакомыхъ, который не только словами, но и духомъ, исповѣдывалъ вѣру, ставшую для меня постояннымъ и яркимъ свѣтомъ. Это заставило меня увѣровать въ возможность того, что всегда волновало мою душу. Оттого вы всегда были и будете дороги мнѣ» (перевожу съ англійскаго).

Въ томъ же году Толстой черезъ Пругавина познакомился еще съ такимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, крестьяниномъ, какъ Сютяевъ. Онъ и его сыновья бросили промыслы въ Петербургѣ, простили долги должникамъ своимъ и ушли въ деревню жить семейною коммуною. Сыновья отказались отъ военной службы и попали въ тюрьму. А когда Толстой, послѣ переписи въ Москвѣ, говорилъ передъ Сютяевымъ о своихъ планахъ благотворительности для сиротъ, Сютяевъ оказался настолько практичнѣе въ своемъ предложеніи (разобрать сиротъ по домамъ) и настолько ближе къ духу христіанства, чѣмъ Толстой, со всѣмъ своимъ изученіемъ древнихъ языковъ для истолкованія Евангелія, что Толстой сразу отказался отъ своихъ филантропическихъ затѣй.

И мало-по-малу великій писатель вернулся къ тѣмъ простымъ началамъ безгосударственнаго социализма, которыя волновали его въ шестидесятыхъ годахъ, когда онъ ѣздилъ разговаривать съ Прудономъ, и, вернувшись изъ-за границы, вписывалъ въ 1865 году замѣчательнѣйшую страницу о необходимости земельного переворота въ Россіи, опубликованную П. И. Бирюковымъ.

Новый міръ долженъ былъ открыться передъ Толстымъ послѣ его знакомства съ народниками. До тѣхъ поръ онъ не вѣрилъ въ возможность самопожертвованія,—тихаго, безъ многоглаголанія, длящагося годы, не вѣрилъ въ добровольный отказъ отъ житейскихъ благъ и возможность перехода интеллигента къ ручному труду. И вотъ онъ встрѣтился съ людьми, исполнявшими то самое, о чемъ онъ мечталъ, и, со своею любящею натурою, онъ ихъ братски полюбилъ.

И онъ понялъ тогда, что если уже искать въ религіи опоры для нравственной жизни, то религія не должна противорѣчить разуму. Онъ вернулся къ мысли о всемірной, раціоналистической религіи, которую записалъ въ своемъ дневникѣ въ Севастополѣ.

Съ этихъ поръ началась для него новая жизнь—и новая полова творчества.

Уже тогда онъ хотѣлъ окончательно разстаться съ барскою жизнью: поселиться въ избѣ, въ лѣсу, въ Ясной-Полянѣ, и тамъ ручнымъ трудомъ зарабатывать себѣ на жизнь. Одно время онъ даже надѣялся, что ему удастся уговорить хотя часть своей семьи присоединиться къ нему. Его дочери, особенно дочь Маша (умершая, къ несчастью, въ 1906 году), сочувствовали ему. Но скоро всякіе такіе планы пришлось оставить. Пришлось отказаться и отъ мысли полного отреченія отъ литературной собственности на свои сочиненія.... Драма жизни затягивалась крутымъ узломъ.

Левъ Николаевичъ остался жить въ барской усадьбѣ, но остался въ ней чужакомъ. Кто не знаетъ его комнаты, написанной Рѣпинымъ? Кто не помнитъ картины Рѣпина, изображающей Толстого въ крестьянской одеждѣ, за крестьянской сохою! Она облетѣла міръ. Ее встрѣчаемъ въ крестьянскихъ хижинахъ.

Упростивъ такимъ образомъ свою жизнь, Толстой засѣлъ съ новою энергіею за литературныя работы, и въ нѣсколько лѣтъ издалъ массу замѣчательныхъ книгъ.

Не знаю, какъ въ Россіи, но въ Англіи и Америкѣ существуетъ; даже между поклонниками Толстого, порядочная путаница насчетъ его религіозныхъ сочиненій и выраженныхъ въ нихъ воззрѣній. Между тѣмъ дѣло очень просто.

Въ 1876—1878 году, когда въ немъ совершился религіозный кризисъ, онъ держался догматовъ православія. Но уже тогда въ немъ зарождались сомнѣнія въ точности истолкованія ученія Христова церквами вообще. И вотъ онъ предпринялъ громадный трудъ. Онъ изучилъ сперва богословіе, какъ оно преподается въ духовныхъ академіяхъ, и разобралъ его, со своей точки зрѣнія, въ ученой книгѣ «Критика догматическаго богословія» (1880). Затѣмъ онъ выучился греческому и отчасти еврейскому языку и издалъ свой переводъ четырехъ Евангелій (1881—82), а затѣмъ, въ слѣдующемъ году, выпустилъ свое «Краткое изложеніе Евангелія». Эти труды послужили основаніемъ его дальнѣйшихъ религіозно-философскихъ изслѣдованій. Ими заканчивается первый періодъ его религіозной жизни послѣ 1878 года.

Затѣмъ, съ 1882 года, начинается второй періодъ, во время котораго онъ выработалъ основы той религіи, о которой онъ писалъ еще въ своемъ дневникѣ въ Севастополѣ.

Въ основѣ всѣхъ религій, говоритъ онъ, лежитъ одно и то же начало: выясненіе своихъ отношеній ко вселенной (міросозерцаніе) и признаніе равенства всѣхъ людей.

Поэтому, люди всѣхъ религій одинаково понимаютъ добро и зло. Христіанство только полнѣе другихъ религій излагаетъ руководящія начала жизни. А потому, если взять нравственное ученіе Христа, безъ догматическихъ и мистическихъ его частей, то получается ученіе, которое даетъ руководство въ жизни, и можетъ быть признано не только христіанами всѣхъ исповѣданій, но и буддистами, евреями, мусульманами, даже язычниками, а также и тѣми, кто теперь живетъ безъ всякой религіи.

Этихъ началъ онъ и держался до своей смерти, постоянно выставляя превосходство началъ братства и любви.

Необыкновенно плодотворный періодъ дѣятельности начался съ этихъ поръ для Толстого, такъ какъ онъ написалъ за послѣднія тридцать лѣтъ, кромѣ ряда религіозно-философскихъ книгъ («Въ чемъ моя вѣра», «Такъ что же намъ дѣлать?», «О жизни», «Царство Божіе внутри васъ», «Что такое вѣра»), множество художественныхъ произведеній, социалистическихъ работъ въ смыслѣ христіанскаго анархизма, политическихъ воззваній и программныхъ писемъ. Свой лозунгъ «Не противься злу» онъ замѣнилъ лозунгомъ «не противься злу насиліемъ» и по временамъ онъ принималъ горячее участіе въ текущихъ событіяхъ—всегда со своей христіанской точки зрѣнія. И вездѣ, въ социалистическія брошюры, въ воззванія, въ обращенія къ обществу, онъ вносилъ свое великое, подчасъ недосигаемое художественное мастерство.

Мало-по-малу великій художникъ вернулся и къ сродному ему творчеству. Сперва въ видѣ небольшихъ разсказовъ и легендъ, или сказокъ для народа, достигая въ нѣкоторыхъ изъ нихъ («Гдѣ любовь, тамъ и Богъ», «Чѣмъ люди живы», «Много ли земли нужно человѣку» и др.) поразительной красоты, несмотря на то, что, по его же замѣчанію, сверхъ-естественный элементъ вредитъ художественности.

Затѣмъ въ его закатѣ все сильнѣе выступаетъ драматическій и даже трагическій элементъ. Онъ сказывается уже въ «Смерти Ивана Ильича» (безполезно прожитая, никому не нужная жизнь),

но еще сильнѣе выступаетъ въ драмѣ «Власть тьмы», въ повѣсти «Крейцера соната».

«Крейцера соната», по моему мнѣнію, была бы едва ли не самымъ глубоко-художественнымъ произведеніемъ Толстого, если бы парадоксальныя разсужденія Позднышева, т.-е. самого Толстого,—вовсе не вытекающія, между прочимъ, изъ драмы,—не развлекали читателя и не вызвали въ немъ желанія спорить. По стройности построения эта повѣсть почти достигаетъ совершенства Тургеневскихъ повѣстей, а по развитію борьбы и вообще семейной драмы въ бракѣ, совершившемся только въ силу чувственного увлеченія, она превосходитъ все написанное въ этомъ родѣ. Она прямо взята изъ жизни.

«Воскресеніе» такъ свѣжо въ памяти у всѣхъ, что нечего говорить о силѣ этой повѣсти, поставившей ребромъ вопросъ о правѣ наказанія и о цѣлесообразности нашихъ тюремъ. Приведу лучше дѣйствительный фактъ изъ американской жизни. Въ 1897 году я читалъ въ Бостонѣ лекцію о вредѣ тюремъ, называя ихъ «университетами преступности», и говорилъ о правѣ наказанія вообще. Мнѣ сильно возражалъ послѣ лекціи одинъ очень умный человекъ, служащій по тюремной администраціи. Четыре года спустя, я опять былъ въ Бостонѣ, и ко мнѣ пришелъ тотъ же служащій, прося назначить вечеръ для бесѣды съ нимъ и нѣсколькими его друзьями, на тему: Чѣмъ слѣдуетъ замѣнить тюрьмы? Я былъ очень удивленъ и обрадованъ, и, конечно, спросилъ, что заставило его измѣнить свои мнѣнія?—«Я прочелъ съ тѣхъ поръ «Воскресеніе» Толстого»,—былъ его отвѣтъ. Такова сила таланта великаго нашего художника. Лучшаго оправданія идей, которыя онъ проповѣдывалъ въ своей книгѣ «Объ искусствѣ», также нельзя было бы придумать.

И въ Англіи я натолкнулся, на островѣ Уайтѣ, на точь-въ-точь такой же случай. И тутъ «Воскресеніе» сослужило ту же службу.

Насколько глубоко вліяніе Толстого, мы могли убѣдиться на дняхъ. Но оно, несомнѣнно, еще далеко не достигло полной силы. Какъ росло вліяніе Руссо послѣ его смерти, такъ будетъ рости вліяніе Толстого. Какова будетъ судьба созданной имъ попытки формулировать новую религію, свободную отъ догматизма и мистицизма,—трудно сказать. Много другихъ причинъ, кромѣ религіозной этики, ведутъ къ тому, чтобы выработать въ человѣчествѣ, преимущественно снизу, сознаніе общественнаго

равенства между людьми. За то его честная, смѣлая, всегда конкретная и художественно-выраженная критика нашего политическаго, общественнаго и нравственнаго строя, современной этики и религіи, собственности и семейнаго быта, проникаетъ, благодаря силѣ его таланта и художественному изложенію, несравненно глубже всѣхъ социалистическихъ писаній. Кто изъ насъ написалъ что-нибудь равное его «Не могу молчать», или «Рабство нашего времени»? Кто изъ насъ сумѣлъ лучше выразить грызущее насъ «исканіе правды», т.-е. внутреннюю борьбу, происходящую теперь, вездѣ, во всѣхъ классахъ, между сознаніемъ вопіющей несправедливости и лжи нашего общественного строя и пробуждающеюся совѣстью?

Силою своего убѣжденія и любви къ народу и могуществомъ своего художественнаго генія онъ расшевелилъ лучшія струны человѣческой совѣсти; а послѣднимъ своимъ поступкомъ—удаленіемъ отъ чуждой ему семьи, съ мыслью посвятить остатокъ силъ великому дѣлу пробужденія общественной совѣсти,—онъ безбоязненно, правдиво, какъ истый боецъ, завершилъ свою жизнь.

Лондонъ.

10 ноября 1910.

*П. Крапоткинъ.
(«Утро Россіи»).*

Письма Толстого.

Выпущенныя на-дняхъ въ свѣтъ письма Льва Николаевича Толстого содержатъ сравнительно мало новаго матеріала. Большинство этихъ писемъ уже извѣстно читающей публикѣ по сочиненію П. Н. Бирюкова, къ сожалѣнію, вышедшему изъ продажи. и по воспоминаніяхъ А. Фета, гдѣ много этихъ писемъ приведено. Съ другой стороны, и настоящее собраніе писемъ представляется далеко не полнымъ и въ значительной мѣрѣ случайнымъ. Достаточно, напр., отмѣтить, что здѣсь нѣтъ ни одного письма къ В. Г. Черткову. Тѣмъ не менѣе, собранныя вмѣстѣ, въ одно цѣлое, расположенныя въ хронологическомъ порядкѣ, письма эти, особенно въ настоящій моментъ, когда имя Л. Н. Толстого у всѣхъ на устахъ, а у многихъ выѣсняется всѣ мысли и заставляетъ усиленно биться сердца, является какъ

нельзя болѣе кстати, отвѣчаетъ жгучей потребности приобщиться, подойти ближе къ чуждому, увы, и до сихъ поръ мертвому для насъ міру глубокихъ и сложныхъ духовныхъ переживаній, наполнявшихъ эту во всѣхъ отношеніяхъ исключительную жизнь.

I.

Письма Толстого обнимаютъ длинный періодъ съ 1848 по 1910 годъ—шестьдесятъ три года! Какъ много, какъ страшно много прожито въ вѣчной, неустанной борьбѣ, въ тщетномъ стремленіи «мягко влечь въ хомутъ и не спускать постромки». Въ первомъ изъ напечатанныхъ писемъ къ брату С. Н. Толстому (изъ Петербурга, 13 февраля 1848 г.) двадцатилѣтній юноша пишетъ, что онъ сдѣлалъ большой шагъ, что въ его душѣ произошла «большая перемѣна, еще этого со мною ни разу не было». И черезъ шестьдесятъ три года, въ послѣднемъ изъ напечатанныхъ крестьянину Н—ву (изъ Ясной Поляны, отъ 24 октября 1910 г.). Толстой тайно проситъ найти ему маленькую отдѣльную хату, чтобы сдѣлать новый, послѣдній «большой шагъ», осуществить послѣднюю большую перемѣну. На протяженіи этихъ долгихъ лѣтъ такъ оно продолжалось всю жизнь. Вскорѣ послѣ приведеннаго перваго письма, въ которомъ онъ радуется происшедшей перемѣнѣ, Толстой пишетъ брату: «Ты, я думаю, говоришь, что я «самый дуряшный малый», и говоришь правду». «Я теперь слишкомъ чувствую свое ничтожество». Черезъ четыре года, съ Кавказа, который, какъ извѣстно по литературнымъ произведеніямъ Толстого, произвелъ на него такое огромное впечатлѣніе, онъ снова пишетъ своей любимой теткѣ Т. А. Ергольской: «Я очень перемѣнился нравственно». Но теперь въ отличіе отъ предыдущаго Толстой самъ констатируетъ: «это было со мною уже столько разъ». Въ 1862 г. Левъ Толстой женится и черезъ двѣ недѣли пишетъ «Фетушкѣ, дядинькѣ»: «Я новый, совсѣмъ новый чловѣкъ». Въ 1881 г., пользуясь послѣ болѣзни кумыснымъ леченіемъ, онъ пишетъ женѣ своей: «Вотъ ужъ на это кумысъ былъ хорошъ, чтобы заставить меня спуститься съ той точки зрѣнія, съ которой я невольно, увлеченный своимъ дѣломъ, смотрѣлъ на все. Я теперь иначе смотрю». Проходитъ еще 10 лѣтъ, въ письмѣ къ Л. Ѳ. Анненковой мы опять читаемъ: «Вы спрашиваете, покоенъ ли я духомъ. Слава Богу, покоенъ». Да иначе и быть не

можетъ. Чтобы успокоиться, нужно отрѣшиться отъ личности своей. «Если личность, то слабость. Чтобы спастись отъ нея, надо найти опору внѣ себя—забыться въ работѣ (какъ мы забываемся въ таченіи сапоговъ, въ пахотѣ), въ работѣ всей жизни. А успокоить личность нельзя. Какъ скоро личность, то она мечется и страдаетъ». (Изъ письма къ Н. Е. Попову 1890 г.). Въ 1892 г. въ письмѣ къ Н. Б. Фейнману Толстой горько жалуется: «Видно, я не достоинъ этого, и такъ мнѣ и придется умереть; не поживъ приблизительно и хотя короткое время такъ, какъ я считаю это должнымъ, и не придется хоть какими-нибудь страданіями тѣла свидѣтельствовать истину».

Эта постоянная неудовлетворенность внушаетъ самому Толстому мысль объ его неустойчивости: «нашъ братъ безпрестанно безъ переходовъ прыгаетъ отъ унынія и самоуниженія къ непомерной гордости». Въ дѣйствительности же, какъ мы видимъ, никакихъ переходовъ не было, мучило вѣчное острое чувство неудовлетворенности, происходившей отъ глубокаго геніальнаго проникновенія въ тайники жизни. «Не понимаешь часто,—воскликаетъ Толстой,—зачѣмъ мнѣ дано такъ ясно видѣть ихъ безуміе, они совершенно лишены возможности понять свое безуміе, и свои ошибки, и мы такъ стоимъ другъ противъ друга, не понимая другъ друга и удивляясь и осуждая другъ друга» (1882 г. В. И. Алексѣеву). Единственный выходъ—уйти изъ этого міра. Еще въ 1877 г. Толстой пишетъ П. Н. Страхову: «Все это пошло и ничтожно. Если бы я былъ одинъ, я бы не былъ монахомъ, я былъ бы юродивымъ, т.-е. не дорожилъ бы ничѣмъ въ жизни и не дѣлалъ бы никому вреда».

II.

Таково было постоянное настроеніе великаго писателя съ того момента, какъ онъ сталъ жить сознательной жизнью и вплоть до ухода его, наканунѣ смерти, изъ Ясной Поляны. Каковы же были тѣ условія, въ которыхъ ему пришлось прожить свою мятущуюся жизнь, и какъ онъ къ этимъ условіямъ относился? Въ 1852 г., находясь на Кавказѣ, гдѣ, какъ мы уже знаемъ, Толстой пережилъ тяжелый душевный переломъ и думалъ, что «мысль поѣхать на Кавказъ внушена мнѣ свыше», онъ въ письмѣ къ Т. А. Ергольской такъ рисуетъ себѣ «счастье, которое меня ожидаетъ»:

«Послѣ нѣкотораго количества лѣтъ, не молодой; не старій, я въ Ясной Полянѣ, дѣла мои въ порядкѣ, у меня нѣтъ ни безпокойства, ни непріятностей. Вы также живете въ Ясной. Вы немного постарѣли, но еще свѣжи и здоровы. Мы ведемъ жизнь, которую вели раньше,—я работаю по утрамъ, но мы видимся почти цѣлый день. Мы обѣдаемъ. Вечеромъ я вамъ читаю что-нибудь интересное для васъ. Потомъ мы бесѣдуемъ, я рассказываю вамъ про кавказскую жизнь, вы мнѣ рассказываете ваши воспоминанія о моемъ отцѣ, матери; вы мнѣ рассказываете «страшныя», которыя мы прежде слушали съ испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаемъ людей, которые намъ были дороги и которыхъ больше нѣтъ. Вы станете плакать и я тоже, но эти слезы будутъ успокоительны; мы будемъ говорить о братьяхъ, которые будутъ къ намъ прїѣзжать время отъ времени. О дорогой Машѣ, которая также будетъ проводить нѣсколько мѣсяцевъ въ году въ Ясной, которую она такъ любитъ, со всѣми своими дѣтьми. У насъ не будетъ знакомыхъ, никто не придетъ намъ надоѣдать и сплетничать».

«Все это можетъ случиться»,—прибавляетъ Толстой.—Но этого не случилось. Въ письмахъ встрѣчаются безчисленныя указанія на суету, окружающую великаго писателя. «У насъ полонъ домъ гостей. Я съ трудомъ нашелъ уголокъ и выбралъ минутку, чтобы написать вамъ словечко» (1880 г.). «Суета у насъ ужасная. Гости, гости, гости» (1890 г.). «У насъ вчера прїѣхалъ американскій издатель газеты большой, и я ужасно усталъ отъ него» (1891). Въ 1903 г. Толстой съ отчаяніемъ пишетъ В. Стасову: «Избавьте меня отъ этихъ фонографовъ и кинематографовъ. Мнѣ это ужасно непріятно, и я рѣшительно отказываюсь позировать и говорить». «Вы мнѣ пишете,—читаемъ мы въ письмѣ къ Фету:—я одинъ, одинъ. А я читаю и думаю: «вотъ счастливецъ — одинъ». А у меня жена, трое дѣтей, четвертый грудной, двѣ старухи тет-ки, нянька и двѣ горничныхъ». Онъ самъ находитъ, что живетъ въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ. Въ 1882 г. онъ пишетъ Алексѣеву: «Можно жить и въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ, въ самой гущѣ соблазновъ, можно въ среднихъ и въ самыхъ легкихъ. Вы почти въ самыхъ легкихъ. Мнѣ Богъ никогда не давалъ такихъ условій, завидую вамъ, чисто, любовно завидую, но завидую». Сравните эту дѣйствительность съ тѣми мечтами, которыми полонъ былъ Толстой, и нетрудно будетъ понять, что, несмотря на свою безпредѣльную органическую любовь къ жиз-

ни, къ Божьему міру; у Толстого не разъ вырывается восклицаніе: «хуже жизни ничего нѣтъ!» И нельзя безъ глубокаго душевнаго волненія читать эти по-истинѣ страшныя слова, которыя мы находимъ въ письмѣ Толстого къ А. А. Энгельгарту, написанномъ въ 1882 г.: «Вы вѣрно, не думаете этого, но вы не можете себѣ представить, до какой степени я одинокъ, до какой степени то, что есть настоящій «я», презираемо всѣми окружающими меня».

Всегда въ суетѣ, среди гостей, на людяхъ, съ острой потребностью хоть на минуту остаться одному, и чѣмъ эта окружающая толпа больше, шумнѣе, суетливѣе, тѣмъ сильнѣе чувство безнадежнаго одиночества, полной отчужденности.

III.

Писательская дѣятельность никогда не удовлетворяла Толстого, она, вообще, почти не отразилась въ письмахъ. Тамъ нѣтъ ни одного, ни малѣйшаго слѣда радости творчества, восторга и увлеченія новымъ замысломъ, удовольствія отъ оконченной работы. «Я пишу не изъ тщеславія, но по влеченію». «Но навѣрное никогда не было писателя, столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я» (1874). И я могу сказать, что при знакомствѣ съ Л. Н. Толстымъ, эта черта его оставляла самое сильное впечатлѣніе. Мнѣ выпало счастье однажды обѣдать съ нимъ, и я былъ подавленъ и тронутъ до глубины души тѣмъ «равнодушіемъ», которое Толстой обнаруживалъ къ очень занимательному разсказу о первой постановкѣ «Власти тьмы» въ театрѣ Корша. Никому бы и въ голову не могло придти, что предъ вами авторъ произведенія, до того спокойно, безъ всякой ревности выслушивалъ онъ, какъ артисты поняли свои роли и исполняли ихъ.— «Вѣдь мнѣ достоинства моихъ писаній и одобреніе ихъ мало интересно»,—пишетъ онъ снова въ 1889 г. Если Толстой все-таки писалъ, то объясненіе этому можно найти въ одномъ изъ его послѣднихъ писемъ къ Л. Андрееву, въ которомъ онъ высказываетъ «вообще мои мысли о писательствѣ»: «Писать надо, во-первыхъ, только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, такъ неотвязчива, что она до тѣхъ поръ, пока, какъ умѣешь, не выразишь ее, не отстанетъ отъ тебя».

И Толстой писалъ, потому что иначе не могъ отдѣлаться

отъ тѣхъ мыслей, которыя ему внушалъ даръ «видѣть безуміе». Но онъ никакъ не могъ понять, за что же тутъ можно хвалить его, особенно, если ему всегда казалось, что онъ не сказалъ того, что нужно. «Не хвалите мой романъ. Паскаль завелъ себѣ поясъ съ гвоздями, которымъ онъ пожималъ, всякій разъ, какъ чувствовалъ, что похвала его радуетъ. Мнѣ надо завести такой поясъ. — Покажите мнѣ искреннюю дружбу: или ничего не пишите про мой романъ, или напишите мнѣ только все, что въ немъ дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабѣе, то, пожалуйста, напишите мнѣ. Мерзкая наша писательская должность—развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую онъ осторожно носить вокругъ себя и не можетъ имѣть понятія о своемъ значеніи и о времени упадка. Мнѣ бы хотѣлось не заблуждаться и не развращаться дальше. Пожалуйста, помогите мнѣ въ этомъ».

Отсюда его постоянныя колебанія, крайняя медленность въ опубликованіи своихъ произведеній, на чемъ онъ настаиваетъ и въ письмѣ къ Андрееву. О «Хаджи Муратѣ» упоминается въ письмахъ 1851 г. къ брату,—вотъ сколько времени Толстой вынашивалъ свои произведенія. И даже тогда, когда отъ художественнаго творчества онъ обратился къ проповѣднической дѣятельности, онъ все-таки не обрѣлъ удовлетворенія («никакъ нельзя заставить себя работать, когда привыкъ работать на извѣстной глубинѣ сознанія и никакъ не можешь спуститься на нее»), но эта дѣятельность уже не представляется наносной, посторонней, о ней то и дѣло упоминается въ письмахъ.

IV.

Итакъ, художественное творчество не удовлетворяло Толстого. «У меня,—пишетъ онъ въ 1896 г. В. В. Рахманову,—много начатыхъ и задуманныхъ художественныхъ вещей, которыя мѣняютъ къ себѣ». Но стоило великому писателю хоть на одну пядь выйти за предѣлы художественнаго творчества, и онъ неизмѣнно натыкался на колючую изгородь. Въ началѣ 60-хъ годовъ Толстой увлекся и беззавѣтно отдался педагогической дѣятельности и основалъ въ Ясной Полянѣ школу для крестьянскихъ дѣтей. Въ 1862 году, во время отсутствія Толстого, въ Ясной Полянѣ «былъ сдѣланъ грубый обыскъ со взломомъ письменнаго стола,

прочтениемъ интимныхъ писемъ и пр.» Негодованію Толстого, когда онъ узналъ объ этомъ, не было границъ. Онъ пишетъ своей дальней родственницѣ, фрейлинѣ Двора, гр. А. А. Толстой, къ которой великій писатель всегда прибѣгалъ въ аналогичныхъ случаяхъ: «Вся моя дѣятельность, въ которой я нашелъ счастье и успокоеніе, испорчена». Ему кажется, что весь его авторитетъ въ глазахъ народа погибъ.

— «Что, братъ? Попался. Будетъ тебѣ толковать намъ о честности, справедливости,—самого чуть не закопали».

Онъ не хочетъ оставить это дѣло.

«Напишите мнѣ, пожалуйста, поскорѣй посовѣтовавшись съ Перовскимъ или Алексѣемъ Толстымъ, или съ кѣмъ хотите,—какъ мнѣ написать и какъ передать письмо Государю. Выхода мнѣ нѣтъ другого—какъ получить такое же гласное удовлетвореніе, какъ и оскорбленіе (поправить дѣло уже невозможно), или экспатріироваться, на что я твердо рѣшился. Къ Герцену (котораго, кстати сказать, въ этихъ письмахъ Толстой необыкновенно высоко цѣнить) я не поѣду; Герценъ самъ по себѣ—и я самъ по себѣ. Я и прятаться не стану, а громко объявлю, что продаю имѣніе, чтобы уѣхать изъ Россіи, гдѣ нельзя узнать минутой впередъ, что тебя ожидаетъ».

Еще характернѣе окончаніе письма, въ которомъ Толстой выражаетъ свою радость, что его не случилось дома: «ежели бы я былъ, то теперь навѣрно уже судился бы, какъ убійца».

Здѣсь же уместно привести эпизодъ, относящійся къ 1872 году, когда Л. Толстого изводилъ слѣдователь по поводу забоданія быкомъ пастуха въ Ясной Полянѣ. «Нежданно, негаданно на меня обрушилось событіе, перемѣнившее всю мою жизнь,—писать онъ той же графинѣ А. А. Толстой.—Страшно подумать, страшно вспомнить о всѣхъ мерзостяхъ, которыя мнѣ дѣлали, дѣлаютъ и будутъ дѣлать».

То же самое онъ пишетъ и Н. Н. Страхову, и опять у него возникаетъ мысль объ эмиграціи изъ Россіи и опять онъ, конечно, остается на родинѣ, чтобы нести свой крестъ, какъ онъ самъ выражался, дальше.

На-дняхъ еще, когда гениальный писатель лежалъ уже на смертномъ одрѣ, рептильная печать съ цинизмомъ, доходящимъ до кретинизма, доказывала, что власть относилась къ Толстому благородно, потому что она не посадила его въ тюрьму; хотя имѣла для этого всѣ основанія, и Толстой самъ просилъ объ этомъ.

Но здѣсь-то и скрывался неизсякаемый источникъ глубочайшихъ душевныхъ мукъ Толстого, чувствовавшего себя въ безвыходномъ положеніи. Подъ этимъ впечатлѣніемъ онъ въ 1896 г. обращался къ министру юстиціи (Н. В. Муравьеву), какъ «человѣкъ къ человѣку» (!), съ письмомъ, которое представляетъ громкій вопль наболѣвшей души.

«Дѣло касается тѣхъ преслѣдованій, которымъ подвергаются со стороны чиновъ вашего министерства лица, имѣющія мои за-прещенныя въ Россіи сочиненія и дающія ихъ читать тѣмъ, которые ихъ объ этомъ просятъ.

«Я думаю,—продолжаетъ Толстой, рассказавъ два конкрет-ныхъ случая такихъ преслѣдованій,—что такого рода мѣры не-разумны, бесполезны, жестоки, и, главнымъ образомъ, неспра-ведливы. Я пишу тѣ книги и письма и словеснымъ общеніемъ распространяю тѣ мысли, которыя правительство считаетъ зломъ, и потому, если правительство хочетъ противоdѣйствовать распро-страненію этого зла, то оно должно обратить на меня всѣ употре-бляемыя имъ теперь мѣры противъ случайно попадающихъ подъ его dѣйствіе лицъ, тѣмъ болѣе, что я заявляю впередъ, что я буду, не переставая, до самой смерти, dѣлать то, что правительство считаетъ зломъ, а что я считаю своей священной передъ Богомъ обязанностью».

Съ большой горечью Толстой далѣе увѣрялъ Муравьева, что онъ отнюдъ не бравируетъ, что отнюдъ не считаетъ себя огра-жденнымъ своей популярностью, и «убѣжденъ, что если прави-тельство поступитъ рѣшительно противъ меня, сошлетъ, посадить въ тюрьму или приложить еще болѣе сильныя мѣры, го это не представитъ никакихъ особенныхъ затрудненій, и общественное мнѣніе не только не возмутится этимъ, но и большинство людей выполнѣ одобритъ такой образъ dѣйствія и скажетъ, что давно пора было это sdѣлать».

Къ этому мучительному противорѣчію Толстой неоднократно возвращается въ своихъ письмахъ. Въ частности, когда въ 1908 г. стали dѣлаться приготовленія къ празднованію его 80-лѣтняго юбилея, онъ, какъ и гдѣ только могъ, рѣшительно про-тестовалъ, противъ этого и, между прочимъ, писалъ А. М. Бо-дянскому, что не чествованіе нужно ему: «ничто бы такъ выполнѣ не удовлетворило бы меня и не дало бы мнѣ такой радости, какъ именно то, чтобы меня посадили въ тюрьму, хорошую, на-стоящую тюрьму: вонючую, холодную, голодную».

Другой эпизодъ, отлученіе отъ церкви, не находитъ своего отраженія въ письмахъ. Отвѣтъ Толстого св. синоду здѣсь не приводится, онъ циркулировалъ въ свое время только въ спискахъ и до сихъ поръ въ печати не можетъ быть воспроизведенъ. Есть зато цѣлый рядъ обращеній къ гр. А. А. Толстой съ просьбой ходатайствовать передъ Императрицей за сектантовъ, къ начальнику дисциплинарнаго баталіона съ мольбой смягчить условія тюремной казни для двухъ лицъ, отказавшихся отъ военной службы, къ П. А. Столыпину, которому онъ пишетъ «какъ брату, какъ человѣку; назначеніе котораго, хочеть онъ этого или не хочеть, есть только одно: прожить свою жизнь согласно той волѣ, которая послала его въ жизнь».

Нужно ли прибавлять, что всѣ его обращенія оставались безотвѣтными? Если не ошибаемся, единственный отвѣтъ (приведенный у Бирюкова) великій писатель получилъ отъ Побѣдоносцева, отказавшагося по «принципіальнымъ соображеніямъ» передать письмо Толстого Императору Александру III.

V.

Намъ остается еще выяснить, какъ реагировалъ великій писатель на отношеніе общества къ его внѣхудожественной дѣятельности. Насколько тамъ онъ, какъ мы видѣли, былъ равнодушенъ; настолько здѣсь онъ безмѣрно огорчался и страдалъ. Выше приведена уже цитата изъ письма, въ которомъ скорбно говорится о взаимномъ непониманіи. Жалобами на это переполнены письма послѣднихъ лѣтъ. «Никакого моего ученія,—пишетъ онъ,—не было и нѣтъ». «Отвѣты спрашиваются не на вопросы разума, а на вопросы другіе. Я называю ихъ вопросами сердца». «Я даже и не понимаю, какъ къ этимъ явленіямъ можно прилагать провѣрку смысленнаго и бессмысленнаго». «Отвѣты, не высказанные словами, живутъ въ душѣ и даютъ ей спокойствіе».

«Вы хотите,—пишетъ онъ Л. Е. Оболенскому,—методомъ научнымъ разрѣшить вопросъ, предметъ, подлежащій только религіозному знанію. Цѣль жизни? Такой цѣли нѣтъ и не можетъ быть и никакія знанія не могутъ найти ее».

Можно себѣ представить, какъ долженъ былъ относиться Толстой къ «научной критикѣ» его взглядовъ, къ «философскому анализу» его ученія, самую наличность котораго онъ отрицалъ.

Но все это совершенно блѣднѣетъ передъ другой стороною, передъ постоянными, настойчивыми, и безцеремонными указаніями на противорѣчіе между словомъ и дѣломъ. Въ этомъ отношеніи величайшій художникъ, лучшее украшеніе своей родины, сдѣлавшій ее центромъ вниманія всего міра, представляетъ неслыханное, ужасное исключеніе. Ни одному писателю, какъ бы ни расходилась его частная жизнь съ высказываемыми имъ взглядами, не приходилось переживать; хотя бы въ сотой долѣ, такого, я сказалъ бы, постоянного выставленія на лобное мѣсто, какъ это съ самой милой улыбкой, съ демонстраціей дружескихъ чувствъ систематически продѣлывали надъ Толстымъ. Здѣсь не мѣсто разсматривать вопросъ, насколько тутъ дѣйствительно имѣлось противорѣчіе. Я это категорически отрицаю. Но нужно сказать, что Толстой самъ сильно страдалъ отъ этихъ противорѣчій. Отвѣчая въ 1890 г. Л. Анненковой, что у него нѣтъ страха смерти, Толстой прибавляетъ: «я неспокоенъ въ томъ, что вижу ясно отклоненіе моихъ поступковъ отъ того пути, по которому хочу идти», «думайте обо мнѣ, какъ о человѣкѣ слабомъ, исполненномъ пороковъ, тѣхъ долговъ, которые прошу Отца отпустить мнѣ, чтобы они не мѣшали мнѣ служить Ему; моя дѣятельность, какъ бы она ни казалась полезной людямъ, теряетъ—хочется думать, что не все, но уже навѣрное самую большую долю своего значенія вслѣдствіе неисполненія самаго главнаго признака искренности того, что я исповѣдую».

Такихъ заявленій можно безъ конца найти въ письмахъ, но, несмотря на это, какъ мнѣ уже приходилось отмѣчать въ печати, до смертнаго одра со всѣхъ сторонъ его преслѣдовали, положительно травили указаніями на противорѣчія между словомъ и дѣломъ. И въ тотъ же день (24 октября), когда Толстой тайно просилъ крестьянина приготовить ему маленькую, но отдѣльную хату, онъ отвѣчалъ какому-то студенту, требовавшему отъ него оправданія по обвинительному акту Мерзковского.

Хотите знать, что чувствовалъ Толстой, что дѣлалось въ душѣ его? Лучше бы мы этого не знали. Ибо страшно становится, когда мѣртва душа, когда читаешь эти строки изъ письма его, писаннаго въ 1882 г.: «Не столько въ оправданіе, сколько въ объясненіе непослѣдовательности своей говорю: посмотрите на мою жизнь, прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнилъ и $\frac{1}{10,000}$,—это правда, и я виноватъ въ

этомъ, но я не исполнилъ не потому, что не хотѣлъ, а потому, что не умѣлъ. Научите меня, какъ выпутаться изъ сѣти соблазновъ, охватившихъ меня, помогите мнѣ, и я исполняю; но и безъ помощи я хочу и надѣюсь исполнить. Обвиняйте меня—я самъ это дѣлаю, но обвиняйте меня, а не тотъ путь, по которому я иду и указываю тѣмъ, кто спрашиваетъ меня, гдѣ, по моему мнѣнью, дорога. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаюсь изъ стороны въ сторону, то неужели отъ этого не вѣренъ путь, по которому я иду? Если не вѣренъ, покажите мнѣ другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мнѣ, поддержите меня на настоящемъ пути, какъ я готовъ поддерживать васъ, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите съ восторгомъ: вотъ онъ говоритъ, что идетъ домой, а самъ лѣветъ въ болото. Да не радуйтесь же этому, а помогите мнѣ, поддержите меня.

Вѣдь вы не черти изъ болота, а тоже люди, идущіе домой. Вѣдь я одинъ и вѣдь я не могу желать итти въ болото. Помогите мнѣ: у меня сердце разрывается отъ отчаянія, что мы все заблудились, и когда я бьюсь всеми силами, вы, при каждомъ отклоненіи, вмѣсто того, чтобы пожалѣть себя и меня, суете меня и съ восторгомъ кричите и, смотрите, съ нами вмѣстѣ въ болотѣ».

Да, лучше бы мы не знали этого письма! Ибо для всякаго, кто искренно любить свою родину и любовно гордится ея величайшимъ сыномъ, навсегда отравлены тѣ безцѣнные плоды, которыми онъ такъ расточительно щедро одарилъ насъ. Ибо стоитъ увидѣть предъ собою томъ его произведеній, и въ ухахъ невольно зазвучить этотъ безумный, раздирающій вопль геніально-чуткой и безжалостно-истерзанной души. И никуда не уйти отъ него, нигдѣ не спрятаться, ничѣмъ не оправдаться!

Такъ прошла долгая жизнь «великаго писателя земли русской». И, послѣ того, какъ она окончилась такъ неожиданно, ошеломляюще быстро въ какомъ-то Астаповѣ, о которомъ вчера еще никто ничего не зналъ, въ чуждой, случайной обстановкѣ станціоннаго дома, согласимся хоть на томъ, что это слишкомъ дорогоа, безмѣрная дѣна за попытку разбудить нашу совѣсть; и спросимъ себя: неужели возможно, чтобы и у гроба Толстого они продолжали дѣлать то «дѣло», что дѣлали при его жизни.

И. Гессенъ,

(«Рѣчь»).

Памяти учителя *).

Добрые друзья мои извѣстили меня своевременно о кончинѣ дорогого нашего учителя Льва Николаевича.

Телеграмма была послана въ день кончины, въ воскресенье, но до меня дошла лишь на третій день, во вторникъ.

Страшное извѣстіе положило конецъ моимъ надеждамъ и мечтамъ. За пятнадцать мѣсяцевъ разлуки съ нимъ, любимой, невысказываемой, скрытой въ глубинѣ души моей надеждой и мечтой было то, что, вотъ, пройдутъ два томительныхъ года насильственной разлуки,—съ каждымъ днемъ они все таяли и таяли,—и я снова вернусь къ нему, чтобы работать съ нимъ по его указаніямъ и совѣтамъ, вернусь вѣрный той истинѣ, которой онъ научилъ меня и за которую я пострадалъ, и застаю его такимъ же кроткимъ, отзывчивымъ, полнымъ любви и прощенья, мудрымъ учителемъ, какимъ я его зналъ и восторженно любилъ.

Конецъ мечтамъ. Безумная надежда зародилась въ моемъ, пораженномъ страшнымъ извѣстіемъ, мозгу: можетъ быть, я успѣю еще пріѣхать, прежде чѣмъ его схоронятъ. Его сынъ и дочь, можетъ быть, за-границей; можетъ быть, будутъ ждать ихъ. Мнѣ предстоялъ путь въ 200 слишкомъ верстъ на лошадахъ и около 2000 по желѣзной дорогѣ, но безумная надежда не оставляла меня. Я не зналъ, что въ тотъ день, когда я готовился ѣхать, надъ прахомъ его уже возвышался могильный холмъ. Но я самъ заболѣлъ и, когда поправился настолько, что могъ ѣхать, было уже, очевидно, слишкомъ поздно.

Конецъ и этой мечтѣ. Не суждено мнѣ было со слезами припасть къ его мертвой рукѣ, со всѣми любящими его поплакать у его гроба, въ толпѣ друзей проводить прахъ его до мѣста вѣчнаго успокоенія.

Прими же запоздалый земной поклонъ праху твоему, дорогой учитель.

Тотъ, Кто далъ тебя намъ и взялъ отъ насъ, укрѣпить мой слабый духъ въ тяжеломъ горѣ.

*) Эта статья прислана въ редакцію «Утра Россіи» бывшимъ секретаремъ Л. Н. Толстого, отбывающимъ административную ссылку въ чердынскомъ уѣздѣ, пермской губерніи.

Причины ухода покойнаго изъ Ясной Поляны были, въ общемъ, такъ вѣрно освѣщены русской и иностранной печатью; что вопросъ этотъ можно считать въ основѣ своей правильно рѣшеннымъ для большинства людей, читающихъ газеты.

Мнѣ хочется только подѣлиться нѣкоторыми личными воспоминаніями и выдержками изъ писемъ покойнаго ко мнѣ, относящимися къ этому вопросу.

4 августа прошлаго года исправникъ и становой пріѣхали въ Ясную Поляну и объявили мнѣ распоряженіе о моей высылкѣ и немедленномъ арестѣ. Въ прощальной задушевной бесѣдѣ нашей съ глазу на глазъ Левъ Николаевичъ, между прочимъ, сказалъ мнѣ:

— А я, знаете... я не говорилъ вамъ этого... я думаю отсюда бѣжать.

— Куда же вы думаете бѣжать, Левъ Николаевичъ?—спросилъ я съ невольной жалостью объ этомъ человѣкѣ, которому такъ недоставало необходимаго въ его преклонномъ возрастѣ покоя.

— Не знаю... Только бѣжать.

Я не предчувствовалъ тогда, что больше ужъ никогда не буду говорить съ нимъ.

На тяжесть и мучительность своей жизни въ противорѣчащей его совѣсти обстановкѣ роскоши, возможной лишь при порабощеніи и нищетѣ друдящагося народа, покойный не разъ указывалъ въ письмахъ ко мнѣ, какъ и къ другимъ близкимъ людямъ.

Приведу нѣкоторыя выдержки.

8 сент. 1909 года. «Спасибо, милый Ник. Ник., что пишете о себѣ и въ тѣлесномъ и въ духовномъ отношеніи. Знаю, что пишучи къ любящимъ людямъ, невольно скрываешь все для тебя тяжелое, чтобы не огорчить ихъ—любящихъ. Такъ дѣлаете; навѣрное, и вы. Но какъ ни трудно вамъ, милый Н. Н., я въ минуты слабости желаю быть на вашемъ мѣстѣ. Но это минуты слабости, и знаю, что «все въ табѣ», какъ говорилъ Сютеевъ, и, слава Богу, нахожу «въ сабѣ» все, что мнѣ нужно»...

13 ноября 1909 г. «Про себя скажу, что все больше и больше недоволенъ своей жизнью, но не отчаиваюсь... Вамъ лучше, чѣмъ мнѣ»...

18 марта 1910 г. «Получивъ ваше послѣднее письмо, милый Ник. Ник., и стараюсь, но не могу не огорчаться и объ

томъ; что все-таки я, живущій себѣ спокойно среди всѣхъ возмутительныхъ условій роскоши и безопасности (хоть бы сглазить) все-таки я причина страданій и тяжелыхъ испытаній люсимыхъ мною такихъ хорошихъ людей»... *).

18 сент. 1910 г. «Когда я пишу заключеннымъ, какъ нынче Калачеву, я испытываю сложное чувство радости, состраданія, зависти и стыда за свою жизнь. Къ вамъ, какъ заключенному **), я только не испытываю состраданія, но за то больше зависти и стыда за свою жизнь»...

Дорогому своему молодому другу, Молочникову, Левъ Николаевичъ въ еще болѣе сильныхъ выраженіяхъ писалъ о мучительности для него условій барской жизни:

1 апр. 1910 г. «Братъ Владиміръ. Сейчасъ получилъ ваше письмо отъ 23 марта. Оно особенно сильно тронуло меня своей правдой, относящейся не до васъ однихъ, но до всѣхъ насъ. Помогай намъ Богъ не переставая видѣть то, что вы видите. Я не въ тюрьмѣ, къ сожалѣнію, но моя тюрьма безъ рѣшетокъ иногда, въ слабыя минуты, мнѣ кажется хуже вашей **). Вамъ больно, а мнѣ не переставая стыдно».

1 окт. 1910 г. «Спасибо, милый Молочниковъ, за ваше письмо о Соловьевѣ и Смирновѣ. Какая сила. И какъ радостно, все-таки радостно за нихъ и стыдно за себя. Напишите, кому писать о томъ, чтобы ихъ перевели? Отъ кого зависеть? Одно остается, сидя за кофеемъ, который мнѣ подаютъ и готовятъ, писать, писать. Какая гадость».

Прошло немного времени, и мощный духъ великаго старца порвалъ навсегда съ этой «гадостью».

Вспоминается мнѣ чудное лѣтнее утро 12 августа 1908 г. Покойному тогда очень неможилось. Началось съ боли въ ногѣ, которая все усиливалась и усиливалась и, наконецъ, совершенно приковала его къ постели, а затѣмъ эта болѣзнь осложнилась другими, болѣе серьезными.

Въ это утро, часовъ въ девять, покойный позвонилъ мнѣ. Я взошелъ въ его полутемную, съ опущенными шторами спальню. Онъ сказалъ, что хочетъ продиктовать. Я сѣлъ у окна, отдернулъ край занавѣски и сталъ записывать. Онъ продиктовалъ, что

*) Въ этомъ письмѣ я писалъ Л. Н-чу о постигшихъ меня преслѣдованіяхъ полиціи.

**) Я былъ тогда подъ арестомъ.

чувствуетъ себя плохо, кажется, умираетъ; далъ нѣсколько предсмертныхъ распоряженій (нѣкоторыя изъ нихъ были потомъ повторены покойнымъ передъ его кончиной и свято выполнены его вдовой и дѣтьми, какъ погребеніе безъ обрядовъ въ указанномъ имъ мѣстѣ яснополянскаго лѣса). Начиналось же это завѣщаніе словами о томъ, какъ тяжело ему умирать въ нелѣпныхъ условіяхъ роскоши и медицины.

Желаніе великаго мудреца исполнилось. Онъ умеръ не въ нелѣпныхъ условіяхъ роскоши, а въ скромной обстановкѣ одного изъ миллионовъ трудящихся людей, къ которымъ всегда такъ влекло его чуткое сердце.

Н. Гусевъ.

„Русское Богатство“ о Толстомъ.

Траурная рамка на ноябрьской книжкѣ Русскаго Богатства,—первой книжкѣ, вышедшей послѣ смерти Толстого. Двѣ первыя статьи посвящены его памяти. С. Е. Елпатьевскій, характеризуя покойнаго какъ «великаго человѣка», рассказываетъ о своемъ посѣщеніи Ясной Поляны и вспоминаетъ, какой непрерывной работой духа была жизнь Толстого.

«Я приведу одинъ примѣръ, изъ моихъ личныхъ воспоминаній,—говоритъ г. Елпатьевскій,—изъ того періода, когда 8—9 лѣтъ назадъ мнѣ пришлось лѣчить его вмѣстѣ съ другими врачами отъ той же болѣзни, отъ которой онъ умеръ. Была тяжелая ночь, пульсъ падалъ, сердце изнемогало, всю ночь, черезъ часъ, черезъ два, приходилось давать ему дигиталисъ и шампанское, впрыскивать камфору, и я каждую минуту трепеталъ, что вотъ-вотъ откажется работать сердце. Утромъ ему стало немножко лучше, появились признаки разрѣшенія воспалительнаго фокуса въ легкомъ, поднялась дѣятельность сердца, но онъ былъ безсильный, какъ ребенокъ, слабый и измученный. Съ тревогой, но и съ надеждой уѣхалъ я въ Ялту, а въ 4 часа

того же дня, когда я снова вернулся,—у его изголовья сидѣла Марья Львовна съ исписанной тетрадкой и онъ слабымъ голосомъ диктовалъ ей, заставляя перечеркивать, дѣлалъ вставки, измѣненія. Карандашъ не держался въ его рукѣ, онъ указывалъ ей строки, мысли, суровыя косматыя брови двигались, и напряженно смотрѣли пронзительные, единственные глаза Толстого. И всю ту болѣзнь, когда онъ въ продолженіе двухъ недѣль то собирался умирать, то снова побѣждалъ смерть,—не было ни одного свѣтлаго промежутка, малѣйшаго пробужденія сознанія, чтобы его мысль снова не начинала работать,—напряженно и страстно».

А. В. Пѣшехоновъ въ статьѣ «Гора и море» пытается уяснить то чувство, которое охватило насъ послѣ смерти Толстого. «Странное это чувство»,—говорить онъ.—

«Уныніе сливается въ немъ съ бодростью, тревога съ увѣренностью, клонящая книзу скорбь съ поднимающимъ вверхъ возбужденіемъ. Ощущеніе такое, какъ-будто мы не только чего-то лишились, но и что-то получили, получили тоже что-то большое и въ тѣ же дни, когда произошла великая утрата».

Что же такое получено? Пробѣгая вкратцѣ общественную жизнь послѣднихъ лѣтъ и отклики на нее Толстого, авторъ дитируемой статьи приходитъ къ заключенію, что каждый разъ, какъ замирала общественная мысль, голосъ Толстого возвышался и будилъ ее.

«Онъ вставалъ передъ нами, въ моменты нашего упадка. Когда всѣ находились въ уныніи, онъ неожиданно проявлялъ бодрость; когда мысль у всѣхъ становилась донельзя робкой, его оказывалась необычайно смѣлой; когда никто не имѣлъ силъ говорить даже шопотомъ, онъ говорилъ громкимъ голосомъ... И это не разъ дѣйствовало на общественную среду, какъ электрическая искра. И это было важно,—то, что съ нами былъ человѣкъ, мысль котораго не знала страха, слово котораго было слышно всему міру, стремленіе котораго къ правдѣ не могла остановить никакая преграда; человѣкъ, который не молчалъ и не могъ молчать, когда мы молчали, который шелъ и насъ заставлялъ идти, когда мы останавливались. И вотъ этого-то, человѣка мы теперь лишились».

Но подвигомъ своимъ передъ смертью и самою смертью своей Толстой вновь всколыхнулъ заснувшую общественную мысль.

«Толстой показался намъ въ послѣдній разъ, какъ никогда еще, великимъ. Онъ выросъ въ нашихъ глазахъ въ моментъ

ухода изъ Ясной Поляны,—это былъ новый могучій порывъ съ его стороны въ высь, и это было вмѣстѣ съ тѣмъ завершенье его жизненнаго подвига. Этого только штриха недоставало, чтобы очертить его фигуру на небосклонѣ. Очень хорошо и образно выразилъ это впечатлѣнїе польскій писатель Свентоховскій: «На одномъ вечерѣ,—разсказываетъ онъ,—Бетховенъ сыгралъ свою сонату. Затѣмъ, уже нѣсколько часовъ спустя послѣ концерта, отдыхая, окруженный воодушевленными его игрой почитателями, онъ во время ужина вдругъ выбѣжалъ изъ комнаты, подбѣжалъ къ роялю и взялъ одинъ только аккордъ. Именно этого аккорда, онъ «чувствовалъ», недоставало его сонатѣ. Теперь она была гениально закончена. Такой же аккордъ всей своей жизни взялъ теперь и Толстой. Честъ ему и слава!» Я не знаю, испытывали ли бы мы теперешнїя чувства, если бы этого аккорда Толстымъ взято не было. Но я знаю, что съ этого именно момента наши сердца принадлежали ему уже всецѣло. И напрасно, какъ мнѣ кажется, желающіе умалить этотъ актъ Толстого стремятся привлечь общественное вниманіе къ семейнымъ дразгамъ, какія ему предшествовали. Во всякомъ случаѣ со стороны Толстого это былъ идейный актъ, и чѣмъ тяжелѣе онъ ему дался, тѣмъ значеніе его больше. Смерть провела еще одинъ штрихъ, тоже крайне важный. Толстой умеръ, какимъ былъ, ни чуточки не подвинувшись, нисколько не умалившись. Примѣсь опасенія, какая была въ нашемъ чувствѣ, исчезла; осталось одно восхищеніе. Да, мы можемъ восхищаться подвигомъ... И нѣтъ для насъ большей радости, когда и въ себѣ мы почувствуемъ способность и готовность,—не скажу: къ подвигу, такъ какъ для насъ это было бы слишкомъ громко, скажу просто: къ движенію во имя одушевляющихъ насъ идеаловъ. Къ сожалѣнію, не всегда эта способность и эта готовность у насъ имѣется. Въ послѣдніе же годы мы какъ-будто окончательно ихъ потеряли. Но можетъ-быть, теперь онѣ хоть въ малой долѣ вернутся? Со страхомъ и надеждой я ставлю этотъ вопросъ. Неужели же и смерть Толстого насъ не разбудитъ? Неужели его столь прекрасно завершанный на нашихъ глазахъ подвигъ насъ не воодушевитъ? На нашихъ глазахъ поднялся старикъ, собралъ свои послѣднія силы и пошелъ во имя одушевлявшей его идеи... Неужели же мы, болѣе молодые, во имя нашихъ идей такъ и не сдѣлаемъ никакого шага? Я не теряю однако надежды. Гора исчезла... Но какъ-будто и море дрогнуло».

